
НИКОЛАЙ
КЛЮЕВ
БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
НИКОЛАЙ
КЛЮЕВ



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

МАЛАЯ СЕРИЯ
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

советский
писатель

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ
и
ПОЭМЫ

Вступительная статья
В. Г. Базанова

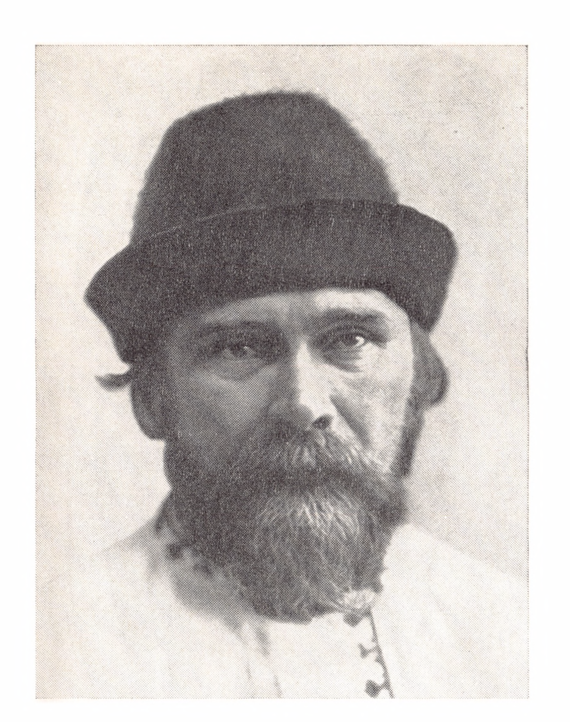
Составление, подготовка текста
и примечания
Л. К. Швецовой

ленинградское отделение
1977

Р 2
К 52

Н. А. Клюев (1884—1937) — представитель так называемого ново-крестьянского направления в русской поэзии начала XX века, певец суровой природы и деревенского быта Прионежья. Восторженно встретивший Великую Октябрьскую революцию, поэт проявил, однако, недопонимание ее движущих сил и ее общественно-исторических задач. Ограниченность мировоззрения Клюева отразилась прежде всего в противопоставлении идеализируемой «избяной Руси» «железному городу», в противоречивом отношении к социалистическим преобразованиям деревни. Художественная система Клюева, унаследовавшая традиции русской классической литературы и народно-поэтической образности, вместе с тем изобилует элементами старообрядческой книжности и символики.

К $\frac{70403-316}{083(02)-77}$ 361—75



ПОЭЗИЯ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА

1

Родом Николай Алексеевич Клюев (1884—1937) из деревни Коштуг Вытегорского уезда Олонецкой губернии (ныне Вологодской области).[1] Всю свою жизнь он был связан с русским Севером. Посылая первые стихотворные опыты в столичные журналы, Клюев демонстративно подписывал их — «Олонецкий крестьянин». Он гордился своим крестьянским происхождением и много сделал для прославления родного края.

Покрытая дремучими лесами и непроходимыми болотами Олонецкая губерния долгое время была хранительницей древних народных преданий и оплотом старообрядчества. Заонежье — родина знаменитых певцов былин Рябининых, сказительницы Ирины Федосовой. Сам воздух этих краев был напоен поэзией патриархальной старины. Клюеву не требовались дальние путешествия,

---

[1] По данным самого Клюева, он родился либо в 1887, либо в 1886 г. Лишь недавно по метрическим записям дата рождения уточнена: 10 октября 1884 г. (см.: А. К. Грунтов, Материалы к биографии Н. А. Клюева. — «Русская литература», 1973, № 1, с. 118—119).

чтобы посмотреть древние церквушки и иконы, заглянуть в рукописные или печатные книги, созданные поморскими старообрядцами, услышать в живом исполнении народные песни, сказки, былины. Все было рядом — рукой подать.

Клюевская семья — целая школа народного творчества. В самой пространной автобиографии («Красная панорама», 1926, № 30) поэт сообщал: «Говаривал мне мой покойный тятенька, что его отец, а мой дед, медвежьей пляской сыт был. Водил он медведей по ярмаркам, на сопели играл, а косматый умник под сопель шином ходил... Разоренье и смерть дедова от указа пришла. Вышел указ: медведей-плясунов в уездное управление для казни доставить».

Главное место в этой необычной автобиографии занимает своеобразный «сказ» о деде и автопортрет, сопровождаемый краткими сведениями об увлечениях, обычаях и пристрастиях поэта. О «жизни на земле», о тюремном заключении, о «встречах с городом» если и упоминается, то слишком бегло. Клюев не говорит здесь ни об отце-книгочее, ни о матери, которую так любил, ни о родной деревушке, приютившейся на берегу реки Андомы.

В коротенькой биографической справке, записанной в 1922 году П. Н. Медведевым от Клюева, есть скупые сведения о его матери, Прасковье Дмитриевне, талантливой сказительнице и плачее. Воспоминания о ней проходят через всю поэзию «олонецкого крестьянина». Ею Клюев был обучен «грамоте, песенному складу и всякой словесной мудрости».

С отцом же Клюев, по-видимому, не был близок. Крестьянин по происхождению, уроженец Кирилловского уезда Новгородской губернии, А. Т. Клюев дослужился до чина жандармского унтер-офицера, затем оставил эту должность и стал сидельцем казенной винной лавки в деревне Желвачево Вытегорского уезда.

С 1896 года семья Клюевых жила в Вытегре, где будущий поэт и окончил двухклассное городское училище, после чего был принят в Петрозаводскую фельдшерскую школу. Через год он был отчислен из этой школы по состоянию здоровья. Мы имеем лишь самые отрывочные и скупые сведения о детстве и отрочестве поэта. Известно только, что, когда Клюеву исполнилось 14 лет, его мать, сама происходившая из старообрядческой семьи, послала сына к соловецким старцам «на выучку».

Первые стихотворения Клюева появились в печати в 1904 году на страницах третьеразрядного петербургского альманаха «Новые поэты». В стихах не было и намека на то, что их автор — «олонецкий крестьянин». Тут говорилось о блеклых цветах, о красоте небес, о скучающем юноше и несбывшихся надеждах. Это был набор штампованных фраз, взятых напрокат у многочисленных эпигонов Надсона. Пора творческой зрелости наступила позднее. Когда в конце 1911 — начале 1912 года один за другим вышли два сборника клюевских стихотворений — «Сосен перезвон» и «Братские песни», — многим стало ясно, что в литературу пришел одаренный и самобытный поэт.

За семилетие, предшествовавшее выходу этих книжек, Клюев немало передумал, перечувствовал, немало испытал в жизни. Первый сборник стихов и явился как бы отчетом автора о его духовных исканиях за это время.

Прежде всего обращает на себя внимание то, что в лирику, проникнутую духом философского созерцания, казалось бы полностью отрешенную от злобы дня, проникают горькие думы одинокого узника:

Сосны шепчут про мрак и тюрьму,
Про мерцание звезд за решеткой...

(«В златотканые дни сентября...»)

В сборнике «Сосен перезвон» можно выделить целую группу таких стихотворений («Я молился бы лику заката...», «Ты всё келейнее и строже...», «Есть на свете край обширный...», «Не говори, — без слов понятна...», «Я болен сладостным недугом...»). В журнальной публикации «Прогулки» (она появилась в № 1 журнала «Трудовой путь» за 1908 год) имелись строки о преступнике, приговоренном к смертной казни:

Может быть, на казни место
Поведут меня сейчас;
Посмотри, моя невеста,
На меня в последний раз.

Не слишком весомые в художественном отношении, для нас эти стихи ценны как своеобразный

ключ к тюремным мотивам в поэзии Клюева. Написанные от первого лица, они переносят читателя в зал судебного присутствия, где суд, по-военному короткий, выносит смертный приговор. Несомненно, речь шла о политическом преступнике. Кое-что здесь было навеяно фольклорными песнями (скорее всего «разбойничьими», в частности мотив прощания с невестой). Всё остальное взято из жизни и имеет в виду жертвы наступившей реакции.

До последнего времени мало кто знал, что тюремные мотивы — не просто поэтический отклик на события первой русской революции и торжество реакции. Как установлено петрозаводским краеведом А. К. Грунтовым, Клюев сам принимал непосредственное участие в революционном движении Олонецкой губернии, привлекался к суду и находился под арестом.

В 1906 году четыре месяца (с 25 января по 26 мая) поэт провел в вытегорской тюрьме, затем два месяца — в петрозаводской. Как видно из бумаг Олонецкого губернского жандармского управления, помеченных 31 января 1906 года, Клюеву предъявлялись очень серьезные обвинения: «1. 22 января 1906 года во время схода крестьян Пятницкого общества в дер. Косицыной пришел крестьянин Николай Клюев и, вынув из книжки какой-то печатный приговор, начал читать собравшимся на сходе. По прочтении приговора Николай Клюев... прибавил: «Начальники ваши кровопийцы, добра вам не желают; по милости их все требуется с крестьян». 2. За несколько дней

до схода 22 января Николай Клюев заходил в волостное правление и здесь в разговоре с крестьянином Насонковым советовал ему не платить податей и говорил, что крестьянам нужно отобрать землю от попов и 3. Летом минувшего года, воспользовавшись отсутствием учителя Верхнепятницкого земского училища, Николай Клюев пришел в училище и говорил ученикам Гуляеву, Логинову и Белоусову, что крестьяне напрасно платят казенные сборы и разные подати, что все получаемые с крестьян деньги идут в карманы начальства, которое через это богатеет, и что начальство нужно бить». [1]

В донесении вытегорского уездного исправника сообщалось, что «на маскараде в общественном собрании» Клюев появляется «одетый в женское платье, старухою» и подпевает вполголоса какие-то песни — «Встань, подымись, русский народ» и другую песню, из которой вытегорский исправник запомнил только слова: «И мы водрузим на земле красное знамя труда». При этом Клюев вел политические разговоры, утверждая, что «50 000 крестьян Олонецкой губернии всем недовольны и готовы к возмущению». Согласно заключению того же исправника, «Клюев по своим наклонностям и действиям представляется вообще человеком крайне вредным в крестьянском обществе». [2]

В годы первой революции Клюев был связан

---

[1] Рукописный отдел Гос. литературного музея.
[2] Центральный гос. архив Карельской АССР.

с Всероссийским крестьянским союзом. Этот союз кое-что позаимствовал в своей деятельности из тактики старых народников, участников массового «хождения в народ», в частности основные приемы пропаганды: встречи с крестьянами, устные беседы, переодевание в крестьянское платье, исполнение революционных песен.

В это время Клюев пишет ряд произведений революционно-пропагандистского характера. Некоторое представление о них можно составить по тем немногим образцам, которые Клюеву удалось напечатать в разгар стачечного движения, когда царская администрация временно ослабила свой контроль над прессой. Так, в 1905 году в сборниках «Волны» и «Прибой», издаваемых М. А. Травиным, появилось пять стихотворений Клюева с характерными заголовками и выразительными начальными строками: «Безответным рабом я в могилу сойду. . .», «Где вы, порывы кипучие. . .». «Слушайте песню простую. . .», «Гимн свободе» («Друг, обними в сегодняшний день. . .»), «Народное горе» («Пронеслось над родимою нивой. . .»). Одно из лучших его гражданских стихотворений — «Где вы, порывы кипучие. . .», в котором есть, между прочим, строфы, обращенные к революционным борцам, пытавшимся в 1905 году зажечь «факел свободы»:

Где вы, невинные, чистые,
Смелые духом борцы,
Родины звезды лучистые,
Доли народной певцы?

Родина, кровью облитая,
Ждет вас, как светлого дня,
Тьмою кромешной покрытая,
Ждет — не дождется огня!

Клюев понимал, что для современных крестьян нужны новые песни, а не те, которые они слышали из уст отцов и матерей. В стихотворении «Безответным рабом я в могилу сойду...» поэт допевает старую песню на новый лад:

Но не стоном отцов
Моя песнь прозвучит,
А раскатом громов
Над землей пролетит.

Не безгласным рабом,
Проклиная житье,
А свободным орлом
Допою я ее.

Песни победные, волевые, призывные должны заменить скорбные песни отцов. Такова программа Клюева. Не стоит преувеличивать литературное значение этих ранних гражданских стихотворений. В них немало художественных изъянов и обнаженной риторики. Тем не менее для понимания миросозерцания Клюева и его последующего литературного пути эта страница его творчества представляет несомненный интерес.

2

Из всех современных поэтов едва ли не самым большим авторитетом в глазах Клюева был Блок, которому он был многим обязан как мастер стиха. Их заочное знакомство состоялось еще в 1907 году, когда Клюев отправил Блоку из Вытегры письмо. Первые клюевские письма, совсем робкие, исполнены преклонения перед знаменитым поэтом.

Однако в скором времени письма Клюева начинают звучать проповеднически. У «олонецкого крестьянина» оказался строптивый, даже дерзкий характер. Об одном из клюевских писем Блок спешит 27 ноября 1907 года сообщить матери: «Письмо Клюева окончательно открыло глаза!» Блок решил напечатать выдержки из этого письма, чтобы дать возможность собратьям по перу подумать о сложности самой проблемы «народ и интеллигенция». В подстрочном примечании к статье «Литературные итоги 1907 года» Блок поясняет: «Письмо написано в ответ на мои очень отвлеченные оправдания в духе „кающегося дворянина“». Видимо, Клюева и привели в гнев эти слишком «отвлеченные» оправдания. Письмо «олонецкого крестьянина» бросало вызов «господам», которые пренебрегают искренней дружбой с простым народом.

«Простите мою дерзость, — пишет Клюев Блоку, — но мне кажется, что если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы вашим. Так много вмещает грудь

строительных начал, так ярко чувствуется великое окрыление! ..

О, как неистово страдание от «вашего» присутствия, какое бесконечно-окаянное горе сознавать, что без «вас» пока не обойдешься! Это-то сознание и есть то «горе-гореваньице» — тоска злючая-клевучая, кручинушка злая, беспросветная, про которую писал Никитин, Суриков, Некрасов, отчасти Пушкин и др. Сознание, что без «вас» не обойдешься, есть единственная причина нашего духовного с «вами» несближения, и редко, редко встречаются случаи холопской верности нянь или денщиков, уже достаточно развращенных господской передней. Все древние и новые примеры крестьянского бегства в скиты, в леса-пустыни есть показатель упорного желания отделаться от духовной зависимости, скрыться от дворянского вездесущия. Сознание, что «вы» везде, что «вы» «можете», а мы «должны» — вот необоримая стена несближения с нашей стороны. Какие же причины с «вашей»? Кроме глубокого презрения и чисто телесной брезгливости — никаких. У прозревших из «вас» есть оправдание, что нельзя зараз переделаться, как пишете вы, и это ложь, особенно в ваших устах, — так мне хочется верить. Я чувствую, что вы, зная великие примеры мученичества и славы, великие произведения человеческого духа, обманываетесь в себе... Так, как говорите вы, может говорить только тот, кто не подвел итог своему миросозерцанию».

Процитировав письмо Клюева, Блок в статье «Религиозные искания и народ» заметил: «Вот что

пишет ко мне крестьянин Северной губернии, начинающий поэт. Слова его письма кажутся мне золотыми словами».

В сентябре 1908 года Блок получил из Вытегры другое письмо, о котором он сразу же (11 сентября) сообщил Е. П. Иванову: «Если бы ты знал, какое письмо было на днях от Клюева... При приезде прочту тебе. Это — документ огромной важности (о современной России — народной, конечно), который еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеждах». Под «документом огромной важности» Блок имел в виду статью Клюева «С родного берега», предназначавшуюся для журнала «Трудовой путь» В. С. Миролюбова. Статья была отправлена Блоку с просьбой переслать ее в Париж, где тогда находился Миролюбов. Блок настолько был потрясен этим «документом», что переписал его и в своей статье «Стихия и культура» привел из него большую выдержку.

В клюевской статье Блока заинтересовали сведения о крестьянских настроениях, о неистощимых народных силах. Мучительный вопрос «интеллигенция и народ» может быть решен только тогда, когда русский интеллигент откажется от своих сословных предрассудков и поймет, что «вся земля есть достояние народа». Клюев писал и о том, что в деревнях «резко изменилось» отношение к революционной пропаганде: «Пострадать «с доброй воли», — сообщал он, — не считается позорным. Возвратившиеся из тюрьмы пользуются уважением, слезным участием к их страданью. Тысячи

политических ссыльных с разных концов России нашли в нашем краю приют и вообще жалостное отношение населения... Много работников, как из крестьян-мещан, так и из интеллигентов, арестованы. Главный губернский комитет получает из Питера партийные журналы, прокламации и брошюры, и через уездных членов распространяет по всей губернии». [1]

В подтверждение того, что вот-вот из нависшей тучи «грянет гром» и польются кровавые дожди, Клюев ссылается на народные песни. «Песни крестьянской молодежи, — замечает он, — наглядно показывают отношение деревни к полиции, отчаянную удаль, готовность пострадать даже за «книжку», ненависть ко всякой власти предержащей»:

Мы без ножиков не ходим,
Без каменья никогда,
Нас за ножики боятся
Пуще царского суда.
Мать Россия торжествует —
Николай вином торгует,
Саша булочки пекёт,
А Маша с Треповым живет.

У нас ножички литые,
Гири кованые.

[1] Статья «С родного берега» опубликована К. М. Азадовским по копии из бумаг А. А. Блока (сб. «Русский фольклор. Социальный протест в народной поэзии», Л., 1975).

Мы ребята холостые,
Практикованные.
Мы научены сумой —
Государевой тюрьмой.

Пусть нас жарят и калят,
Размазуриков-ребят,
Мы начальству не уважим, —
Лучше сядем в каземат.

Ах ты книжка-складенец,
В каторгу дорожка,
Пострадает молодец
За тебя немножко

и т. п.

На Блока эти песни произвели потрясающее впечатление. Его комментарий к ним — тревожный, взволнованный, психологически очень сложный.

Россия, по мысли поэта, оказалась между «двух костров», между двух враждующих станов. С одной стороны — «стальная щетина», «штыки и машины» буржуазного мира; с другой — «литые ножи», народное возмущение, которое может быть стихийным, жестоким и бессмысленным или священным, благословенным, как «очистительный огонь».

Мы располагаем откликом Блока, еще более существенным, чем его статья «Стихия и культура». На этот раз перед нами знаменитая поэма «Двенадцать», где слышатся отзвуки «клюевских»

песен. Разудалые песни в поэме Блока сливаются с «музыкой» Октябрьской революции:

Уж я ножичком
Полосну, полосну!..
Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...

Если какие-то строчки из песен, сообщенных Клюевым, могли сохраниться в памяти Блока, когда он писал поэму «Двенадцать», то этого уже очень много, чтобы статью Клюева «С родного берега» действительно считать «документом огромной важности».

В октябре 1911 года Клюев первый раз посетил Блока в Петербурге. Блок тогда же записал в своем дневнике: «Большое событие в моей осенней жизни». Спустя некоторое время Клюев послал ему первый сборник своих стихотворений «Сосен перезвон», который вышел в самом конце 1911 года (на титульном листе — 1912 г.). Книга имела посвящение: «Александру Блоку — Нечаянной радости». Посылая сборник Блоку, автор сделал на нем дарственную надпись: «Александру Александровичу Блоку в знак любви и чаяния радости — братства. Николай Клюев. Андома, ноябрь 1911».

Разное было отношение к Клюеву в кругах тогдашних литераторов. Одни видели в нем истинного представителя крестьянской России, народного поэта и правдоискателя; другие — лесного

отшельника, старообрядца, мистика; третьи — опереточного мужичка, лубочного актера или юродивого. В жизни Клюев был столь же сложен и противоречив, как и в литературном творчестве. Но в Петербург он приехал не только учиться литературному мастерству, но и учить, проповедовать, врачевать недужные души городских поэтов, влиять на общественное мнение.

Клюев пришел в литературу с сознанием своей самостоятельности и особого пути в мире искусства. У него был самобытный голос, немалый запас жизненных впечатлений и глубокое знание крестьянской жизни.

3

Эпоха реакции не сломила Клюева, хотя и ослабила его связи с революционным движением. Он избрал путь борьбы, который тоже преследовался правительством. Это был путь разрыва с официальной церковью и пропаганды новой истинно-христианской религии, способной, по убеждению поэта, сплотить народ для освобождения от социального угнетения. В письме к Блоку от начала 1909 года Клюев поведал о своих странствиях: «По монастырям мы ходим потому, что это самые удобные места: народ «со многих губерний» живет праздно несколько дней, времени довольно, чтобы прочитать, к примеру, «Слово божие к народу» и еще кой-что «нужное». Вот я и хожу и желающим не отказываю, и ходить стоит, потому удобно, и сильно, и свято неотразимо. Без этого же никак невозмож-

но». И далее он откровенно признается: «Я не считаю себя православным, да и никем не считаю, ненавижу казенного бога, пещь Ваалову — Церковь, идолопоклонство «слепых», людоедство верующих».

Свет истинной веры и способность к сопротивлению более всего сохранились, как считал Клюев, в среде раскольников. Он с самого детства хорошо знал своих, олонецких, старообрядцев.

В годы реакции Клюев завязывает обширные связи с раскольническими сектами. Исколесив русский Север, он отправляется осенью 1911 года в Рязанскую губернию — к хлыстам, о чем позднее (в 1915 году) сообщал в письме к С. Есенину: «Я бывал в вашей губернии, жил у хлыстов в Даньковском уезде; очень хорошие и интересные люди, от них я вынес братские песни».

Увлечение старообрядцами — не только эпизод клюевской биографии. В то время о них спорили в литературных кругах, в салонах, в различных обществах. Представление о том, что старообрядцы унаследовали от своих далеких предков чисто народное мироощущение и истинную веру в бога, не искаженную позднейшими извращениями христианства в лоне православной церкви, — это представление не было новостью для русского общества 1900-х годов. Еще русские революционные демократы и народники 1860—1870-х годов считали старообрядцев надежными союзниками крестьянских антикрепостнических движений и рассчитывали на их участие в освободительной борьбе после куцей реформы 1861 года. Таким образом, по-

пытка Клюева свести дружбу со старообрядцами, наивно-утопическая затея организовать «хождение» по скитам и увлечь на этот путь Блока имела под собой глубокие исторические корни.

«Братские песни» Клюева до выхода в свет отдельным изданием (1912) печатались в «Новой земле». Это был полурелигиозный-полусветский еженедельник, выступавший против «лампадного православия» официальной церкви. «Новая земля», возглавлявшаяся И. Брихничевым, проповедовала так называемое «голгофское христианство», цель которого, как ее неоднократно определял журнал, заключалась в защите угнетенных, в подвижнической борьбе за социальную справедливость и нравственное совершенство.

Клюеву-поэту важнее всего было само имя Христа и лишь те места Нового завета, которые можно было истолковать как проповедь равенства и свободы. Легенды, связанные с Христом, всевозможные мифологические чудеса, особенно книжная мифология Ветхого завета, которая всегда была далека от широких масс народа, — такой материал мог только отвлечь поэта от его прямой цели, от сознательного подчеркивания того, что его «христианство» ничего общего не имеет с официальной церковью и всей ее религиозно-догматической схоластикой.

Существенная особенность народно-религиозных верований, запечатленная в поэзии Клюева, — пронизывающий их дух хозяйственного практицизма. Е. В. Аничков, автор ценной книги «Язычество и Древняя Русь», указывает на «великие

проблемы», которые деревня долгое время решала вполне самостоятельно. Если в городах раннее христианство «влияло своею моралью, и моральное его значение представлялось наиболее важным для новообращенных, в деревне другое: там предстояло христианству ответить на хозяйственные нужды, на великие проблемы о плодородии, о правильном распределении влаги, о цвете полезных растений, о пастьбе скота, надежной и здоровой, о благополучии от диких зверей и разбойников». В результате произошло скрещивание древних языческих верований с христианством, которому пришлось-таки проникнуться и чисто земными заботами. Христианские мифы, осложненные языческими пережитками, должны были защитить крестьянина от суровых сил природы. Чтобы побороть их, ему нужны были посредники, своеобразные помощники, повелевающие этими силами.

В стихах Клюева почти нет низших мифологических «персонажей» (леших, домовых, русалок), он почти не обращается к «быличкам». Внимание поэта сосредоточено на самых древних культах (солнца, земли, воды, животных и растений), вернее — на их сращении с христианской мифологией.[1] Во главе крестьянского Олимпа у Клюева не случайно поставлена «Богородица наша Землица». Древнейший культ женщины — родоначальницы, хранительницы домашнего очага — органи-

---

[1] Увлечение внешней экзотикой языческих мифологических образов и «быличек» показательно для поэтов-декадентов, в частности и для раннего Сергея Городецкого.

чески был связан в народной мифологии со Спасом хлебным.

Почти все молитвенные стихи Клюева имитируют обычные крестьянские заклинания: «Ставьте ж свечи Мужицкому Спасу». Мужицкий Спас — «бог хлебный», «лик пшеничный с брадою солнцевласой». Тут и своя образность, отвечающая крестьянским представлениям о святых-покровителях, хранителях крестьянского благополучия, урожая, скота. От Ильи-пророка, по народным верованиям, зависит урожай, благоприятные всходы, удачное рыболовство. Власий — прежде всего «коровий бог», «святой пастух». Изображался он бородатым, усатым, с рогом изобилия. Одомашнены здесь и православные святые Борис и Глеб. Это — святые-пахари, не просто Борис, а Борис-хлебник. Праздник первых яровых всходов приурочен ко дню этих святых.

В стихах Клюева, как и в народной мифологии, можно встретить водяное существо — ящера-дракона. В Поморье существовало поверье, что от него многое зависит в крестьянском хозяйстве, где рыболовство составляет одну из основных отраслей. Не случайно концы избяных деревянных стропил, а также ковши и лодки украшались изображением головы дракона.

Для понимания клюевского мифотворчества показателен цикл стихотворений «Избяные песни», посвященный горячо любимой матери Прасковье Дмитриевне. Одно из стихотворений этого цикла рассказывает о ее кончине. Но поэт не замыкается в своем горе, он не позволяет себе оторваться от

народной мифологии, от традиционных народных обрядов, которые облегчают скорбь. Образ улетающих журавлей — оттуда, из народных верований и фольклора:

Мы матери душу несем за моря,
Где солнцеву зыбку качает заря,
Где в красном покое дубовы столы,
От мис с киселем, словно кипень, белы...

(«Четыре вдовицы к усопшей пришли...»)

Четыре вдовицы в «поминальных платках», посыпающие пеплом «куричий хвост»; журавли уносящие душу покойной в рай, где для нее уготовлены миски с киселем; святые — Митрий Солунский, Никола, Влас, Иоанн Креститель, Илья-громовик, Ерема-запрягальщик, Аверкий — банный согреватель, — все это заимствовано из крестьянских поверий и обрядов. Заметим, что христианский рай в этом стихотворении как две капли воды напоминает языческий Элизий. А если внимательно присмотреться к стихотворениям, отличающимся густотой религиозной лексики, то можно увидеть мощное языческое жизнелюбие, скрывающееся под оболочкой христианской мифологии.

Последовательно отрицая казенную церковную обрядность, Клюев щедро пользуется терминологией религиозного обихода, архаической эстетикой фольклора, а также привычными элементами образной народной речи. Такое любование стариной и народным словотворчеством отвечало определенным идейным и художественным исканиям в русском искусстве конца XIX — начала XX века. Здесь

уместно напомнить о живописи И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, М. В. Нестерова, Н. К. Рериха, обильно использовавшей традиционный реквизит древнерусского искусства и культового обихода.

4

В лирике Клюева широко представлена символика материнства, но символика, опять-таки вырастающая из мифа и крестьянского бытового уклада. У поэтов-символистов культ женщины имеет обычно теургический смысл, мистический ореол: «Жена, облеченная солнцем» (А. Белый). У Клюева — прежде всего «баба-хозяйка», кормилица, олицетворение власти земли. Клюев как бы отвечает Андрею Белому, спорит с ним:

Вижу тебя не женой, одетой в солнце,
Не схимницей, возлюбившей гроб и шорохи часов безмолвия,
Но бабой-хозяйкой, домовитой и яснозубой,
С бедрами как суслон овсяный,
С льняным ароматом от одежды...

(«Поддонный псалом»)

Расходился Клюев и с Блоком. Теоретически не отказываясь от опоры на народное мифотворчество, Блок в своей художественной практике шел по пути создания новых поэтических мифов, более всего доверяясь собственной фантазии, интуи-

ции и философским предпосылкам. «Давно уже, — отмечал поэт в своем дневнике 1901—1902 гг., — хочу я положить основание мистической философии моего духа. Установившимся наиболее началом смело могу назвать только одно: женственное».

Женские образы как в поэзии Блока, так и в стихах Клюева в конечном счете отражают поиски двумя поэтами цельного и просветленного образа Родины, а стало быть, и тех путей, которыми должны идти ее «бездомные сыновья». Женственное начало облекается у Блока то в лик «прекрасной незнакомки», то «властноокой жены». Встречается в его поэзии и образ «старухи». Блоковская «старуха» — это старая, заснеженная, колдовская, нищая Русь. Она заслуживает поэтического признания, в ней есть своя неповторимая ценность, сказочная привлекательность:

...Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.

(«Русь»)

Образ России в поэзии Блока многопланен и, главное, устремлен в будущее. Клюев не обладал столь широким поэтическим кругозором, и ему часто изменяло чувство самой истории. Вернее, пожалуй, сказать, что историю он обращал вспять, уводил в патриархальную старину. Беллетристы-народники в свое время в фольклоре отыскивали оправдание своим «архаическим старикам», носителям общинного начала. М. Цебрикова, прини-

мавшая непосредственное участие в «хождении в народ», писала по этому поводу (в статье «Народ в литературных эскизах»): «В архаических стариках было живучее начало — дух общинности, «мира». Ни в одном народе нет такого множества метких и образных пословиц, свидетельствующих о силе «мира», как в русском народе; к ним нельзя относиться с верхоглядным глумлением, в них сказалось сознание народа».[1] Клюевская старуха — это прежде всего олицетворение самой природы, начало мироздания. В «Лесных былях» (1913), сборнике, во многом продолжающем и дополняющем книгу «Сосен перезвон», есть стихотворение, которое так и называется — «Старуха». Ветхая старуха, обиженная сыном и невесткой, выходит в поле, отверженная и одинокая. На сельском кладбище «ухает» колокол, как бы напоминая о скоротечности всего земного. Клюевской старухе смерть не грозит — она бессмертна, неистребима в ней и сама неумирающая природа. Конечно, эта заонежская старуха — образ не столько бытовой, сколько символический. В системе поэтических образов Клюева старуха — это и Мать-земля, и Мать-Суббота, и Богородица, то есть хранительница вековых религиозных и нравственных традиций, патриархальных устоев. Клюев сознательно подчеркивает в образе старухи все непреходящее, вечное.

---

[1] Об отношении беллетристов-народников к патриархальным традициям крестьянского быта см.: В. К. Архангельская, Очерки народнической фольклористики, Саратов, 1976.

В стихах поэта мы постоянно встречаемся с образом старухи или даже просто «бабы» как символом «избяной сказки»: «В узорной каргопольской бабе Провижу богов красоту».

Рядом с «каргопольской бабой» — вся крестьянская Россия. Сравнительно локальный образ становится обобщающим, приобретает универсальное значение. Ступенчатое развитие образов: «каргопольский», затем «холмогорский образ», и уже далее сам народ в лице Ломоносова: «За обозом народ — Ломоносов В песнорадужном зипуне». Стихотворение «Осыпалась избяная сказка. . .» написано после Октября, оно обращено к революционному народу, который должен сберечь дедовское наследие и природные богатства («Товарищи, отомстим за раны Девы-суши и Матери вод!»), чтобы «индустриальные воды» не захлестнули «песенный флот»:

На развалинах строк, созвучий
Каркнет ворон — мое перо,
И прольется из трубной тучи
Живоносных рифм серебро.

Поэтические мифы Клюева олицетворяют не только архаическую древность, но и неумирающую народную мудрость, являются живым источником творчества.

5

Своеобразие идейно-эстетических позиций и неизменная любовь к крестьянской России определили глубокое внимание поэта к фольклору. Еще в

1912 году в журнале «Новое вино» промелькнуло сообщение о выходе в свет нового сборника стихотворений: «В издании «Цеха поэтов» готовится четвертая книга Клюева — «Плясея» (песенник)». Но книга эта так и не вышла. Песенные же стихи составили первую часть клюевского «Песнослова» (1919). 15 стихотворений, предназначавшихся для «Плясеи», вошло в сборник «Лесные были», а 12 было опубликовано в «Мирских думах» под общим названием «Песни из Заонежья» (в «Песнослове» сохранено это название песенного цикла).

Знакомясь с «Песнями из Заонежья», критики недоумевали: что это? Народные песни, записанные Клюевым, или песни самого Клюева, созданные на основе заонежского песенного фольклора? Поэта даже упрекали за то, что он скрыл от читателя подлинные источники своих песен.

В «Мирских думах» и в «Песнях из Заонежья» действительно трудно провести резкую границу между собственно фольклорными стихами и стихами самого Клюева, великого стилизатора, умевшего народному стиху придать более современное художественное звучание. Вот клюевское стихотворение «Не под елью белый мох. . .», предсказывающее поэтически-фольклорную «хватку» Александра Прокофьева:

Привелося на грехи
Раскосулить белы мхи,

Призасеять репку,
Не часту, не редку.

Вырастала репа-мед
Вплоть до тещиных ворот...

Не исключена возможность, что в «Песни из Заонежья» вошли фольклорные тексты в записи Клюева или воспроизведенные им по памяти. Но это не значит, что Клюев не создает на основе народных песен свои редакции, даже самые фольклорные по стилю «заонежские» песни могут быть и клюевскими, наполовину сочиненными самим поэтом. Ясно лишь, что состав сборника «Песни из Заонежья» неоднороден, мера фольклоризма отдельных песен различна, непостоянна.

«Недозрелая калинушка», «недорощена детинушка», «придорожна скатна ягода» — все это из народных обрядовых песен и народных причитаний. И «сюжет» клюевской песни «Калинушка» — самый фольклорный, без всякой литературной примеси: «Парня гонят во поход» («Дружка в солдаты повезут»). Проводы рекрута всегда сопровождались в деревне гулянием, «красовитой» гульбой, прощанием «доброго молодца» с «красной девицей». Клюев сохраняет устоявшуюся в народных песнях символику, единство поэзии и обряда, красочные бытовые обозначения:

Недозрелую калинушку
Не ломают и не рвут —
Недорощена детинушку
Во солдаты не берут.

Придорожну скатну ягоду
Топчут конник, пешеход, —
По двадцатой красной осени
Парня гонят во поход.

Однако близость двух песенных текстов — фольклорного сборника «Сказки и предания Белозерского края» и клюевского — относительна: общего в них не так уж много, как может показаться по зачину. Клюев постоянно черпает из родника народной поэзии образы, сравнения, тропы и отдает фольклору свои песни, разгруженные от «общих мест» и тавтологических повторений одних и тех же поэтических формул.

Соотношение фольклорного и своего в творчестве Клюева подвижно, Клюев то вместе с фольклором, то отталкивается от него. В «Калинушке» поэт жертвует отдельными фольклорными образами, этнографическими деталями, затянувшимся диалогом («Миленькой ты мой, хорошенькой» — «Милая моя, хорошая»), архаической фразеологией, расковывает и сам стих, делает его более легким, мелодичным. Своеобразие такой стилизации состоит в том, что поэт эстетическую «реформу» производит внутри самого фольклорного жанра и фольклорной поэтики.

Раскудрявьтесь, кудри-вихори,
Брови — черные стрижи,
Ты, размыкушка-гармоника,
Про судину расскажи:

Во незнаемой сторонушке
Красовита ли гульба?
По страде свежит ли прохолодь,
В стужу греет ли изба?

Видимо, Клюев сам производил фольклорные записи и обрабатывал их; в результате возникли новые художественные версии народных песен, в которых трудно отличить, что принадлежит фольклорной традиции, а что самому поэту. Проблема «авторского права» снималась — по крайней мере в глазах самого Клюева — другим правом, правом говорить от имени народа, всей устремленностью творчества поэта, как бы теряющегося в фольклоре. Подобное снятие границ подкреплялось сознательным отречением Клюева от авторского субъективизма в поэзии, устранением из нее авторского «я», которое даже в стихах, лишенных фольклорного колорита, звучит крайне приглушенно, а то и вовсе растворяется в картинах деревенского быта и природы. Поэт гордился глубоким знанием народной словесности, считал себя выразителем крестьянских дум и настроений. «Песни из Заонежья» — прямое тому доказательство.

Клюев учился художественно мыслить и писать в духе и стиле фольклора. Об этом свидетельствуют и «Мирские думы» (1916) — сборник стихотворений Клюева, написанных под впечатлением нагрянувшей первой мировой войны.

В то время военно-патриотический угар охватил

самые широкие слои художественной интеллигенции. «Большинство поэтов, — писал В. Я. Брюсов, — наперебой бросились писать патриотические и военные стихи... И такие произведения насчитывались тысячами, временно заслонив подлинную поэзию, которая, конечно, продолжала жить, но о которой как-то позабывали и читатели и критики».

Подобно многим современным поэтам, поддавшимся газетной пропаганде и демагогическим лозунгам защиты отечества, Клюев тоже не разглядел истинного характера империалистической войны и откликнулся на нее барабанными стихами. В «Мирских думах» встречаются произведения псевдопатриотические, ущербные и в чисто художественном отношении. Таковы «Скрытный стих» и «Беседный наигрыш, стих доброписанный». В иносказательном «наигрыше» немало вымученных, мертворожденных образов, тяжеловесных архаических строк («Порядового народа — несусветно» и т. п.). Автор «Беседного наигрыша» пытался создать современную былину, или — по позднейшей терминологии фольклористов — «новину». Желая превзойти современных поэтов стилистическими новшествами, Клюев тут впадает в художественно не оправданное стилизаторство. В противовес футуристическому космизму он предлагает фольклорный гиперболизм и «избяные» метафоры. Но в состязании с футуристами поэт явно проигрывал: его «наигрыш» — «неедуча солодяга без прихлебки». Даже стихи, где Клюев изображает совсем

близкую ему действительность, звучат как пародия на его собственный стиль.

Есть в «Мирских думах» и другие лжепатриотические стихотворения. Но общее впечатление от сборника составляют не они. Нельзя забывать, что многие страницы книги посвящены осиротелой, тоскующей деревне. Война несет разорение крестьянину. Без хозяина-кормильца изба «пошатилася», поля «замуравели», «кликуша-осина» не предвещает ничего доброго. Стихотворения поэта звучат как народное причитание. Весьма показателен в этом отношении «Обидин плач». Уже само название намекает на то, что завоенные плачи имеют давнюю традицию в народе (еще в «Слове о полку Игореве» дева-Обида выступает в роли своеобразной плакальщицы). «Обидин плач» начинается с описания деревенского «гуляньица». В эту обрядную сцену, по-народному нарядную, врывается предчувствие чего-то недоброго, жуткого, плач становится надрывным. Веселое «гуляньице» оборачивается «убойным полем»:

Как на полюшке кровавоём
Головами мосты мощены,
Из телес реки пропущены,
Близ сердечушка с ружья паля,
О бока пуля пролятыва,
Над глазами искры сыплются...

Многие «общие места» Клюев берет из народной причети и без всяких изменений включает в

«Мирские думы». Стихотворения этого сборника тем и показательны, что в них отражены все главные моменты обрядов, связанных с проводами на войну своих «сродников» и с получением похоронных извещений. «Поминный причет» завершает цикл клюевских стихотворений о войне, ввергнувшей народ в «море горя».

6

Широкую известность Клюеву принес уже упоминавшийся выше сборник «Сосен перезвон». С большим интересом к нему отнесся В. Я. Брюсов. Этой книге он даже предпослал свое предисловие. Строгий и тонкий критик, Брюсов был пленен «свободной красотой» стихов «олонецкого крестьянина», сроднившегося душой с суровой природой русского Севера. «Поэзия Клюева похожа на этот дикий, свободный лес, — писал Брюсов. — ...Современному читателю иные стихотворения представляются похожими на искривленные стволы, другие покажутся стоящими не на месте или вовсе лишними; но попробуйте поправить эти недостатки — и вы невольно убьете в этих стихах самую их сущность, их своеобразную, свободную красоту».

В сборнике «Сосен перезвон», как и в последовавшей за ним книге «Лесные были», попытка Клюева эмоционально раскрепостить лирическое «я» во многом идет от Блока. Стихи начинают

звучать несколько необычно для Клюева, слишком взволнованно, как будто поэт из старообрядческого скита попал в цыганский шатер. «Кладбищенские сторожки» с их «нежилым уютом» не исчезают, но рядом с ними — совсем другой мир, веселый, пиршественный. В стихотворении «Я люблю цыганские кочевья. . .» есть что-то и от Блока, и от будущего Есенина с его «Персидскими мотивами», тоже испытавшего влияние Блока:

Я люблю цыганские кочевья,
Свист костра и ржанье жеребят,
Под луной как призраки деревья
И ночной железный листопад.

Я люблю кладбищенской сторожки
Нежилой, пугающий уют,
Дальний звон и с крестиками ложки,
В чьей резьбе заклятия живут.

Зорькой тишь, гармонику в потемки,
Дым овина, в росах коноплю. . .
Подивятся дальние потомки
Моему безбрежному «люблю».

Большинство стихотворений, вошедших в книгу «Сосен перезвон», — лирика природы. Но Клюев не просто живописует, он о чем-то постоянно беспокоится, тревожится, предупреждает, пророчествует. Порой он погружается в лабиринт загадок и полунамеков. Стремление овладеть внутренним зрением на мир, почувствовать под его внешними покровами иную, таинственную жизнь сближает

лирику Клюева со стихами Блока. Однако сходство это не следует преувеличивать. Лирический субъективизм Блока, как бы растворяющий в себе реальные очертания действительности, Клюеву чужд. В этом отношении он ближе к старым мастерам — Тютчеву и даже Державину с его поразительной предметностью художественного мышления.

С Тютчевым поэта сближает прежде всего пантеистический взгляд на природу. Пантеизм — «религия» философов и художников — одно из тех идеалистических учений, которое решительнее других порывало с христианством и вплотную приближалось к атеизму. Ведь, согласно пантеистическому взгляду, бог — безличное одухотворенное начало природы, которое никогда не может быть выделено из нее.

При всем сходстве с Тютчевым божественная одухотворенность природы у Клюева имеет иные корни. И искать их, конечно, нужно не в шеллингианской философии, а в фольклоре и древнерусской литературе, в народных верованиях и представлениях.

Отметим прежде всего, что Клюев расширяет сферу природы. Она «дополнена» у него крестьянским бытом, который рассматривается как ее естественное продолжение и как неотъемлемый священный атрибут. Деревенская изба, ее убранство, утварь, хозяйственный инвентарь, домашние животные, предметы религиозного культа — все это включено в жизнь природы и образует единый художественный мир, клюевский «избяной космос».

Единство этого мира достигается и тем, что Клюев передает мироощущение крестьянина, в котором сказывается и теплая благодарность к природе, и преклонение перед ее могуществом, и утилитарная расчетливость.

Чувство признательности к природе, как живому существу, — глубоко народное чувство. Проникаясь им, Клюев слагает дифирамбы «всякому древу земному, зверям, птицам и гадам, всему земному дыханию». Историк русского Севера Н. Барсов напоминает нам те внешние обстоятельства, которые делали северных жителей России отважными и вместе с тем набожными, суеверными: «Северному русскому человеку выпал жребий совершать особенно трудную борьбу с природой. Он должен был проторгаться сквозь леса непроходимые, сквозь тундры и болота, и почти на каждом шагу изнемогал, боролся со зверями, утопал в реках и болотах, страдал от мороза, истреблявшего его посевы, от сурового климата. В таком положении вера служила для него подкреплением и утешением». Молиться же приходилось не в церкви, соблюдая все религиозные ритуалы, а в лесной часовне, а то и просто у замшелого пня. Обрядовая сторона подчас вовсе теряла свое значение. Крестьянин прибегает к молитве, ничем внешне не выражая своего душевного «горения»:

Я борозду за бороздою
Тяжелым плугом провожу

И с полуночною звездою
В овраг молиться ухожу.

Я не кладу земных поклонов,
Я не сплетаю рук крестом, —
Склонясь под сумрачною елью,
Горю невидимым огнем!

(«Я борозду за бороздою. . .»)

Богатая любовно выписанными картинами деревенского быта и природы, экскурсами в фольклор и культуру Древней Руси, поэзия Клюева скупо и неохотно отзывалась на жизнь городской России. Между тем проблема отношений города и деревни, точнее сказать, капиталистического города и патриархальной деревни — ключевая и во многом драматическая для поэта проблема его творчества.

Тревожный, минорный тон в стихах Клюева часто обусловлен вполне реальными фактами наступления «железного» города на «избяную Русь». Тяжелое впечатление на поэта произвели, в частности, сообщения о строительстве Дальневосточной железной дороги и особенно Мурманской. В письме к Брюсову от декабря 1911 года есть такие строки: «. . .мое бегство от повсюду проникающего красного света «новой звезды на востоке» есть бегство вымирающих пород животных в пущи, в пустыни и пещеры гор — все дальше, все вперед, но бежать некуда. В пуще пыхтит лесопилка, в ущельях поет телеграфная проволока и лупеет зеленый глаз семафора. И, чтобы не погиб-

нуть, нужно если не идти ⟨на⟩встречу «Красному рыцарю», то забежать в тыл Ему, в полосу сравнительного затишья. Я избираю последнее». Однако в стихах поэта затишье постоянно нарушается: стальное чудовище угрожает уничтожить «древесную силу».

Иль чует древесная сила,
Провидя судьбу наперед,
Что скоро железная жила
Ей хвойную ризу прошьет.

(«Пушистые, теплые тучи. . .»)

Тема «чугунки» к тому времени насчитывала уже более полувека своего существования в русской поэзии. Клюев, а потом и Есенин подхватывают эту тему, можно сказать, на ее исходе. В книге «Мастерство Некрасова» К. И. Чуковский сопоставил знаменитое произведение Некрасова с «дорожными» стихами П. А. Вяземского, С. П. Шевырева, Д. Ю. Струйского, А. А. Фета, Я. П. Полонского. Список этот можно дополнить стихотворениями Ф. Н. Глинки («Две дороги») и Л. А. Мея.

Восторги по поводу «стального механизма» расточали в своих стихах Шевырев, Фет, Полонский, Вяземский. На фоне восхвалений дорожного комфорта некрасовская «Железная дорога» выглядит особенно впечатляюще. Но в трактовке этой темы Клюев все-таки гораздо ближе к своему любимому поэту Мею, чем к Некрасову. Пафос произведения

Некрасова — в осуждении бесчеловечной эксплуатации нищего, голодного народа, на чьих костях была построена железная дорога. Социальных же последствий этого технического чуда Некрасов вообще не касается. Совсем иное — в балладе Мея «Леший» (1861), где образ «змеи-чугунки» предсказывает конец сказочному царству лешего, владетеля глухих уголков природы.

Если у Мея только неясное предчувствие какого-то неблагополучия, то через пятьдесят лет у Клюева появятся прямо-таки апокалипсические прогнозы. Поэт видел, что «змея-чугунка» не остановится на полустанке глухого Обонежья, что она в скором времени «прошьет» всю Европу, опояшет Восток и Запад, будет угрожать всему человечеству. «Чугунка» для Клюева — реальный симптом экологической катастрофы:

Природы последний поминок
Справляет лесной пономарь.

(«Обозвал тишину глухоманью. . .»)

Примечательно, что в своих пророчествах о «конце» света Клюев опять-таки отправляется от народных сказаний, духовных стихов и средневековых апокрифических легенд. Его «царь железный» сродни фольклорному Антихристу, это тоже мрачный носитель всего сатанинского, злого, коварного. В «Беседном наигрыше» в духе старо-

обрядческого «Стиха о последнем времени» клюевский Антихрист говорит:

Ожелезил землю я и воды,
Полонил огонь и пар шипучий,
Ветер, свет колодниками сделал,
Ныне ж я, как куропеть в ловушку,
Светел Месяц с Солнышком поймаю...

По глубокому убеждению Клюева, города, созданные цивилизацией, — следствие пагубного для человечества расторжения естественных связей с природой, ибо природа чиста и невинна, а «искусственная» жизнь больших городов — рассадник всевозможных пороков и социальных противоречий. Это мир железной власти и насилия.

При всей антиисторичности и наивности этих выводов нельзя не учитывать их гуманистических предпосылок. Все больше втягивая деревню в товарно-денежные отношения, капиталистический город оказывал разлагающее воздействие на нравы деревенских тружеников, уничтожая издревле присущий им дух коллективизма и общинной солидарности. Глубокая озабоченность состоянием народной культуры и нравственности, живой природы (экологическая проблема) не спасала Клюева от непонимания реального хода истории и классовых противоречий. «Олонецкий руссоизм» поэта выражал настроения патриархального крестьянства, испуганного предстоящим переворотом в де-

ревне и упорно цеплявшегося за старину. Клюев как будто не замечал, что в промышленно развитых городах России уже созрели силы, способные положить конец бездушному царству чистогана и эгоистической морали. Слова «народ» и «крестьянство» были для него синонимами, и только с крестьянством связывал поэт свои надежды на лучшее будущее.

7

Для понимания клюевской поэзии немаловажным представляется вопрос о ее адресате.

Выше речь шла о ранних агитационных стихах поэта — призывных, гневных, карающих. Вообще же говоря, агитационность заложена едва ли не в любом стихотворении Клюева. Почти каждой своей строкой он как бы говорит: смотрите, сколь пленителен мир русской деревни, сколь много здесь нравственного здоровья, человеческой теплоты, до чего прекрасна отечественная природа, как велик и благодатен труд крестьянина. Совершенно ясно, что проповедь эта менее всего имела в виду обитателей деревень. В первую очередь она была обращена к городскому читателю, и притом достаточно образованному, можно даже сказать, высокообразованному. Клюев зовет горожан, отравленных пороками буржуазной цивилизации, вернуться к своей истинной, забытой ими родине, он пытается убедить их в правильности этого пути, а если возможно, то и сделать своими союзниками. Об этом свидетельствуют и беседы

с Блоком, многочисленные письма Клюева к знаменитому петербургскому поэту.

Если в период революции 1905—1906 годов крестьянский интеллигент Клюев вел пропаганду в деревне, то в последующее время он применил обратную тактику — «хождение» из деревни в город, чтобы ратовать за крестьянскую Россию, за ее значение в общественной и литературной жизни.

Постоянно проживая в Вытегорском уезде Олонецкой губернии, среди земляков-крестьян, поэт время от времени наведывался в Петербург, иногда в Москву. Поездки эти всегда вызывались задачами художественной пропаганды, то есть заботами о публикации новых произведений, поисками литературных связей. Клюеву нужны были единомышленники и сочувствующие.

Где бы ни появлялся поэт, он всем своим видом подчеркивал свое происхождение и свою несокрушимую приверженность крестьянским обычаям. Среди многих строк, посвященных Клюеву в мемуарной литературе, главное место, как правило, занимают описания его внешности, оставлявшей чаще всего двусмысленное впечатление. Внимание обычно обращалось на крестьянскую одежду поэта — на смазные сапоги, домотканую деревенскую рубаху или кафтан, на большой крест на груди. Бросалась в глаза и манера его речи, подчеркнуто «окающая», узорчатая, «елейная». О Клюеве часто говорили: «опереточный мужичок», держится простачком, а на самом деле

себе на уме, хитрый старообрядец. Но в облике «олонецкого мужичка» проступали и другие черты, унаследованные от народных говорунов-краснобаев, скоморохов и вообще фольклорного театра. Клюев умел перевоплощаться, переходить «с альтов на басы», он был прирожденным актером. Ольга Форш увидела в нем «притаенную силу» и врожденную «философскую мудрость». В «Сумасшедшем корабле» Форш рассказывает о появлении Клюева на сцене одного из литературных собраний: «Певец темный, с пронзительной силой увета — Микула был кряжист, широкоплеч, с огромной притаенной силой. Он входил тихонько, благолепно, сапоги мягкие с подборами, армяк в сборку, косоворотка с серебряной старой пуговицей. Лик широкоскул, скорбно сладок. А глаз не досмотришься — в кустистых бровях глаза с быстрым боковым о́глядом. В скобку волосы, масленисты; как у Гоголя, счесаны набок. Присмотревшись, кажется, что намеренно счесаны, чтобы прикрыть непомерно мудрый лоб. Нагнулся, чтобы достать что-то из-за голенища. Лоб сверкнул таким белым простором, под отпавшими при наклоне космами, что подумалось: ой, достанет он сейчас из-за голенища не иначе как толстенький маленький томик Иммануила Канта, каким хвастал один доктор философии. . .»

«Полукрестьянин-полуинтеллигент», как сказал о Клюеве Брюсов, всячески подавлял свою внутреннюю интеллигентность и делал это по вполне понятной причине. Посвятив себя одной определенной цели, Клюев превратил и свой образ жиз-

ни, и свою внешность в наглядное средство агитации. Он хотел убедить всех и каждого, что является с ног до головы представителем русского крестьянства и имеет все права говорить от его имени. Но, стремясь с максимальной точностью соблюсти облик простого крестьянина, его речь и повадки, Клюев перебарщивал, впадал в педантическую мелочность, давая поводы к недоверию, насмешкам и пересудам. Да, элементы наигрыша в своих манерах Клюеву скрыть удавалось не всегда, но важно учесть, что актерство это вызывалось желанием поэта подчеркнуть свою особую миссию, а совсем не пошлым тщеславием и поисками дешевой популярности.

Клюев прекрасно понимал, что один в поле не воин, поэтому успех в пропаганде своих идеалов он ставил в зависимость от сплоченности писателей, которые эти идеалы исповедовали или хотя бы сочувствовали им. Поэт задался целью возглавить литературную группу соратников, которая противостояла бы изощренной манерности современной поэзии — символистам, футуристам, акмеистам.

В 1915 году его внимание привлек молодой начинающий поэт из крестьян Рязанской губернии. Это был Сергей Есенин. Познакомились они в начале октября 1915 года в Петрограде через посредство С. Городецкого. «Чудесный поэт, хитрый, умный, — вспоминал впоследствии Городецкий, — Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время. Он был лучшим выразителем той идеалистиче-

ской системы деревенских образов, которую нес в себе и Есенин... Будучи сильней всех нас, он крепче всех овладел Есениным... Клюев оставался первым в группе крестьянских поэтов. Группа эта все росла и крепла. В нее входили кроме Есенина... Борис Верхоустинский, Сергей Клычков и Александр Ширяевец».

С первых шагов Есенина на поэтическом поприще Клюев помог ему сориентироваться в сложной обстановке петербургской литературной жизни и с достоинством утвердить себя в ней. Клюев почувствовал опасность для Есенина, исходившую из круга Д. С. Мережковского — З. Гиппиус. Ознакомившись с похвальной рецензией Гиппиус на стихи Есенина, Клюев отправил ему «программное» письмо, где указывал на очаги пагубного влияния на русскую поэзию — светские салоны, в которых «поэты-книжники» проповедуют поэтическую богему, кафе «Бродячая собака». Клюев предостерегал Есенина от «соблазнов», советовал не принимать всерьез аплодисменты кафешантанной публики. «Знай, свет мой, — писал он, — что лавры Игоря Северянина никогда не дадут нам удовлетворения и радости твердой, между тем как любой петроградский поэт чувствует себя божеством, если ему похлопают в ладоши в какой-нибудь «Бродячей собаке», где хлопали без конца и мне и где я чувствовал себя наинесчастнейшим существом из всех земнородных... Я холодею от воспоминаний о тех унижениях и покровительственных ласках, которые вынес от собачьей публики». Еще более существен

тот факт, что именно Клюев отговорил Есенина печатать сборник своих стихотворений «Авсень» в издательстве «Лукоморье», находившемся под эгидой черносотенца А. С. Суворина, издателя реакционной газеты «Новое время».

В 1916 году Есенин и Клюев вместе выступали на литературных вечерах и действовали вполне согласованно. И личным общением, и своим творчеством Клюев, тогда уже опытный литератор, безусловно оказывал на него влияние.

Есенин не мог не почувствовать в лирике Клюева, в ее пантеистическом пафосе, той «завязи» человека и природы, которая во многом определяла своеобразие поэтического мироощущения обоих поэтов, очень разных и в чем-то очень сходных. То, что один поэт пришел в литературу из Рязанской губернии, из голубых просторов Рязанщины, а другой из Олонецкой губернии, из северного соснового бора, могло только сблизить их, а не разделить. И там и там были свои краски, но это всё были краски, данные родной русской природой и народным творчеством. В центре поэзии Клюева и Есенина оказывалась крестьянская Россия с ее березовыми рощами, реками и озерами, лугами и пашнями, болотами и лесами, с ее преданиями и песнями. Поставим рядом хотя бы такие «олонецкие» и «рязанские» стихи:

У Клюева:

Косогоры, низины, болота,
Над болотами ржавая марь.

Осыпается рощ позолота,
В бледном воздухе ладана гарь.

(«Косогоры, низины, болота. . .»)

У Есенина:

Нездоровое, хилое, низкое,
Водянистая, серая гладь.
Это всё мне родное и близкое,
От чего так легко зарыдать.

(«Этой грусти теперь не рассыпать. . .»)

Есенин признавал Клюева своим учителем («учитель мой») и в 1925 году в заметке «О себе», несмотря на возникшие «внутренние» расхождения, еще раз свидетельствовал: «. . .Блок и Клюев научили меня лиричности». Однако влияние Клюева на Есенина не могло быть глубоким и длительным, слишком разные они были поэты и в жизни, и в миропонимании. М. Горький еще в 1913 году предупреждал Д. Семеновского, тоже крестьянского поэта, в необходимости более критического отношения к поэзии Клюева и Клычкова («людей весьма даровитых, но мало серьезных. . .»), склонных впадать в «утрированный лубок» и в «языкоблудие». Клюев не избежал фольклорных стилизаций и слишком густой религиозной символики. Сохранив в чисто человеческом плане к своему старшему собрату в поэзии чувство большой благодарности, Есенин одним из первых осудил Клюева за его приязнь к архаическим образам, к «серафической» поэтике и слепое

преклонение перед патриархальной стариной. Об отношении Есенина к Клюеву часто судят по эпиграмматическим строкам стихотворения «На Кавказе» (1924):

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел —
И в клетке сдохла канарейка.

Язвительная эпиграмма не должна заслонять других более существенных отзывов о Клюеве. Есенин с похвалой говорил об «избяных песнях», которые действительно составляют лучшие стихи Клюева. К ним относятся: «Оттого в глазах моих просинь...», «Рожество избы», «Коврига», «Зима изгрызла бок у сена...», «Четыре вдовицы к усопшей пришли...», «Старуха», «Набух, оттаял лед на речке...», «Я — посвященный от народа...», «Я надену черную рубаху...», «Что ты, ивушка, чернешенька...», «Обидин плач». Именно в этих стихотворениях отразились основные мотивы поэзии Клюева, самые существенные особенности его поэтики. Почти все «избяные песни» вошли в сборник избранных стихотворений поэта «Изба и поле» (1928).

8

Октябрьская революция и рождение Советской власти, без сомнения, были восприняты Клюевым как величайшая победа исторической справедли-

вости. Сын крестьянской России, он страстно мечтал, чтобы труженики деревни получили волю и землю, чтобы им было даровано равноправие, чтобы мировая империалистическая бойня не опустошала деревни и села. Но ведь именно первые же декреты Советской власти отдавали землю в руки крестьян, объявили о прекращении войны, провозглашали народовластие. Клюев мог с полным основанием думать, что пришло время воплощения в жизнь тех идеалов, которые он вынашивал и за которые боролся более десятка лет своей сознательной жизни.

В годы суровых испытаний поэт остается верен себе. Он хочет быть поближе к деревне, чтобы послужить ей верой и правдой как представитель революции. Весной 1918 года Клюев возвращается из Петрограда в Олонецкую губернию. В г. Вытегра он вступает в партию большевиков и делает все, чтобы оправдать доверие своих земляков.

«Известия Олонецкого губернского исполнительного комитета» 10 мая 1918 года сообщали о том, что «даровитый поэт Николай Клюев, пользующийся общероссийской известностью», как член большевистской партии принимает активное участие в работе ее местной ячейки. «На вечере, посвященном памяти Маркса, поэт, — говорилось там о Клюеве, — поставил свою пьесу из революционной жизни «Красная Пасха», песнь мщения, скорби и проклятия тем, кто предал социалистическую революцию». А 2 августа 1918 года те же «Известия» информировали, что «почетным пред-

седателем партии выбран известный поэт Николай Клюев» и что он деятельный участник «Красных вечеров».

С призывными речами, с «буревыми» стихами поэт шел на площадь и выступал перед красногвардейцами, отправляющимися на гражданскую войну. 25 октября 1919 года газета «Звезда Вытегры» рассказала: «Потрясающее впечатление произвело задушевное братское слово т. Клюева:

— Черные гады, обломки разбитых режимов, не торопитесь с ликованием победы. Только вчера вы ждали падения Пудожа, но красным порывом наши части отбросили врага. И вы на минуту прикусили язык. Сегодня вам снятся Юденич на белом коне в Петрограде, молебствия, крестные ходы, пение церковного гимна.

Ошиблись вчера, ошибетесь и завтра. Не видать белым бандам красной советской столицы».

Тогда же был написан «Гимн великой Красной Армии» (второе название — «Песня похода») — солдатский марш, победная песня:

Мы — красные солдаты,
Священные штыки,
За трудовые хаты
Сомкнулися в полки.
От Ладоги до Волги
Взывает львиный гром...
Товарищи, недолго
Нам мериться с врагом!
Мир хижинам, война дворцам!
Цветы побед и честь борцам!

Такие стихи кажутся сейчас слишком митинговыми, прокламационными, пролеткультовскими. Но о них нужно судить исторически, с учетом той обстановки, в которой создавались походные песни. Их прямота, отсутствие всякой внешней декоративности и многозначности, а вместе с тем ясность мысли и эмоциональная приподнятость были просто необходимы в поэзии массовой, обращенной к борющемуся народу.

К врагам революции, к белогвардейцам Клюев был непримирим. Поэт понимал, что враги народа — вчерашние господа России, богачи-эксплуататоры вкупе с продажным духовенством — еще недобиты и что завоевания революции нужно отстаивать любой ценой. «Смиренный Миколай» (как называл Клюева Есенин), оказывается, мог быть воинственным и грозным, когда речь заходила о защите прав освобожденного народа. Поэт призывал направить пулемет против явной или затаившейся контрреволюции. Возмездие неизбежно настигнет тех, кто причастен к ней; народ покарает их

За то, что гвоздиные раны России
Они посыпают толченым стеклом.
Шипят по соборам кутейные змии,
Молясь шепотком за Романовский дом,

За то, чтобы снова чумазый Распутин
Плясал на иконах и в чашу плевал...

...Хлыщи в котелках и мамаши в батистах,
С битюжьей осанкой купеческий род,

Не вам моя лира — в напевах тернистых
Пусть славится гибель и друг-пулемет.

(«Из „Красной газеты“», 2)

Революция немало нового внесла в поэзию Клюева. Убедительное подтверждение тому являет сборник «Медный кит» (1919), изданный Петроградским Советом рабочих и красногвардейских депутатов. Поэт придавал большое значение этой книге. Он включил в нее ряд лучших своих стихотворений из более ранних сборников. Однако общее звучание книги определяли стихи 1917—1919 годов. Среди них выделяется группа стихотворений, целиком посвященная революции и гражданской войне. Это «Красная песня», «Из подвалов, из темных углов. . .», «Из „Красной газеты“», «Жильцы гробов, проснитесь! . .», «Матрос» и другие.

Раньше, изображая в многочисленных стихотворениях природу и деревенский быт, Клюев был очень скуп на картины народной радости. Теперь в его стихах читатель увидел народ, который справляет новоселье в собственном дому, хотя еще и недостроенном. Вместе с победившим народом поэт восклицает: «Ликуй, народ родной!» Для него Октябрьская революция — «праздник коммуны», интернациональный праздник всех народов, населяющих земной шар.

В статье Клюева «Красный набат» («Звезда Вытегры», 1919, 4 июня) об интернациональном характере Октябрьской революции и гражданской войны говорит «молодой воин», уходящий на

фронт защищать Петроград от белых банд: «Я иду сражаться за то, чтобы опрокинуть лживые законы, отделяющие племена и народы и мешающие им обнять друг друга, как детям одного отца, предназначенным жить в единении и любви.

Я иду сражаться за то, чтобы все имели единое небо над собой и единую землю под своими ногами».

Клюевская поэзия первых лет советской эпохи ознаменована героическим пафосом и мажорным звучанием темы труда. В сборнике «Медный кит» есть стихотворение, которое так и называется — «Труд» и которое клеймит презрением тех, кто страшится труда, с пренебрежением относится к человеку «с молотом в руке, в медвежьей дикой шкуре».

В этом стихотворении есть что-то от стихов Верхарна, одного из любимейших поэтов Клюева, оно вызывает в памяти трудовые гимны ранней пролетарской поэзии. Другие произведения «Медного кита» также проникнуты духом жизнеутверждающего созидания. Сама Октябрьская революция приравнена к героическому труду огромного коллектива, всех народов, желающих жить в мире и бороться за настоящее счастье.

9

Еще в дооктябрьских стихах поэт смело объединял образы и мотивы фольклора разных народов. Но тогда эта пестрая этнографическая мозаика заслоняла идею братства народов. Теперь Клюев

с еще большей щедростью черпает разнообразные интернациональные краски, особенно экзотические, создавая впечатление отмены национальных границ и национальной обособленности. Поэт понимает, что к Советской России устремлены взоры всего мира, что «звездная Москва» служит отныне ориентиром для всех народов, борющихся за свободу. В поэзию Клюева тех лет приходит глубочайшее чувство межплеменной, межнациональной дружбы: «Бедуинам и желтым корейцам Не будет запретным наш храм...»

Весьма интересен в этом плане цикл стихотворений «Ленин», впервые появившийся в печати на страницах «Песнослова» (1919), самого полного собрания сочинений поэта. Двухтомник этот был выпущен Литературно-издательским отделом Наркомпроса по распоряжению А. В. Луначарского. В том же году одно из стихотворений цикла («Есть в Ленине керженский дух...») вошло в сборник «Медный кит».

В истории Ленинианы стихи Клюева заслуживают внимания хотя бы уже по одному тому, что они принадлежат к самым ранним попыткам запечатлеть образ вождя революции в поэзии. Стихи эти, при всей их художественной неровности, а местами и уязвимости, отражают глубокую признательность Ленину народов русского Севера. Отдельные стихи и строфы этого цикла выполнены на уровне большой, настоящей поэзии. Особенно впечатляющи те строки цикла, которые прямо или в виде намека говорят о покушении на Ленина в августе 1918 года:

Есть в истории рана всех слав величавей,
Миллионами губ зацелованный плат,
Это было в Москве, в человечьей дубраве,
Где идей буреломы и слов листопад.

Возможно, что и сам замысел цикла зародился у Клюева при известии об этом драматическом событии.

Вполне закономерным было стремление поэта показать Ленина на фоне резко меняющейся картины мира. Как и в других клюевских стихах того времени, его «избяной космос» расширяется здесь до всемирного братства освобожденных Октябрьской революцией народов. Сама природа, животный и растительный мир многих широт и стран участвуют в торжестве, включаются в победный гимн, внося в него свои звуки и краски. Вот эта «биологическая» симфония в мировых масштабах, прозвучавшая в разных географических районах:

Стада носорогов в глухом Заонежье,
Бизоний телок в ярославском хлеву.

Или:

С Пустозерска пригонят стада бедуины,
Караванный привал узрят Кемь и Валдай,
И с железным Верхарном сказитель Рябинин
Воспоет пламенеющий Ленинский рай.

Ленин близок всем народам, всем уголкам земли. Но главное место в этой своеобразной пере-

кличке все-таки занимают народы Севера: русские, карелы, эскимосы, лопари (саами) и другие. Клюев пробует говорить от лица этих народов — хлебопашцев, рыбаков, лесорубов, оленеводов, звероловов. Для них Октябрьская революция — событие давно ожидаемое, имеющее корни в их собственной жизни. Клюеву особенно важно было подчеркнуть, что именно Ленин дал крестьянам землю («мужицкая ныне земля»). А если так, то и сам Ленин прежде всего мужицкий вождь свой, «правильный» человек. «Есть в Ленине керженский дух», — заявляет Клюев, проводя довольно странную параллель между вождем революции и старообрядческими подвижниками, мечтавшими о справедливом «мужицком царстве». Понятно, насколько произвольным и натянутым было сближение ленинского характера с «духом» старообрядцев, хотя бы и мятежным. Ленин был неотделим от рабочего класса, от борьбы пролетариата, в своих помыслах и чувствах он находился вместе со всеми трудящимися. Клюев же, оставаясь в плену патриархальных иллюзий, нарисовал далекий от реальности портрет вождя революции. Пытаясь раскрыть образ Ленина преимущественно через мифологию и быт северных народов, Клюев допускал метафорические излишества, прибегал к упрощенной эмблематике, архаическим стилистическим приемам. Сами метафоры имели слишком узкий этнографический характер, редко выходящий за пределы фольклорно-мифологических представлений тундровых охотников.

Клюева подвела не только антиисторическая точка зрения. Портреты людей, изображение отдельных личностей никогда не удавались ему — этому как бы противился сам метод поэта-изографа. Отсюда дробность и разорванность стихотворений ленинского цикла, метания от тундры к Смольному, от Гороховой, 2, где помещался штаб ЧК, к Ниагаре, от прошлого к современности, от живого человека к антропоморфным и зооморфным образам.

В. И. Ленину Клюев послал свои стихи (оттиск из «Песнослова») с дарственной надписью, выполненной в обычной для него стилизованной манере: «Ленину от моржовой поморской зари, от ковриги-матери из русского рая красный словесный гостинец посылаю я — Николай Клюев, а посол мой — сопостник и сомысленник Николай Архипов. Декабря тысяча девятьсот двадцать первого года».[1] А в стихотворении «Родина, я грешен, грешен...» поэт выражал надежду: «И возлюбит грозовый Ленин Пестрядинный клюевский стих».

10

В суровые годы гражданской войны и хозяйственной разрухи Клюев был вместе с трудовым народом, вместе с ним переносил все лишения. В 1919 году поэт опубликовал стихотворение под

---

[1] См.: «Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог», М., 1961, с. 497.

названием «Голод», потрясающее по своему драматизму:

> Стать бы жалким чумазым кули,
> Горстку риса стихами чтя,
> Нижет голод, как четки, пули,
> Костяной иглой шелестя.

В письмах к друзьям он жаловался на недомогание и материальные лишения. В письме к В. С. Миролюбову, которое предположительно датируется концом 1919 года, Клюев с тревогой сообщает о близости к Вытегре белых банд: «Белогвардейцы в нескольких верстах от Пудожа. Страх смертный, что придут и повесят вниз головой и собаки обглодают лицо мое... Приехал бы я в Москву, да проезд невозможен: нужно все «по служебным делам» — вот я и сижу на горелом месте и вою, как щенок шелудивый». [1]

Жизнь поэта протекала негладко. В 1920 году на Вытегорской уездной конференции встал вопрос об отношении его к религии. Изучивший газетные отчеты о конференции Василий Соколов сообщает, что «ответы на прямые вопросы Клюев давал многословные, склоняясь к тому, что в учении Христа есть общее с идеей коммунизма. Вытегорские коммунисты, естественно, не согласились с этим утверждением, но, надеясь на то, что известный российский поэт Клюев, коему было от

[1] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР.

роду 33 года, пересмотрит свое мировоззрение, высказались за оставление его в партии... Губернский комитет РКП(б) опротестовал это решение. В газете «Олонецкая коммуна» (Петрозаводск) 4 мая 1920 года было опубликовано постановление губкома об исключении Клюева из партии, так как его религиозные убеждения находятся в полном противоречии с материалистической идеологией партии».

Отмечая новый рубеж в творчестве поэта, сборники «Медный кит» и «Песнослов» вместе с тем свидетельствовали о том, что и эти книги, как и предыдущие, были написаны с позиций защиты патриархальной деревни. Славя Октябрьскую революцию, Клюев убежден в том, что она вдохнет новую жизнь в пошатнувшиеся устои «избяной Руси» и вполне оправдает мужицкие чаяния о «пшеничном рае». Этот «крестьянский уклон» наложил густой налет на одно из самых боевых и зажигательных стихотворений поэта в честь революции — «Красную песню». Ее начальные строфы выдержаны в стиле типичного революционного гимна, какие писали в ту пору пролетарские поэты:

Распахнитесь, орлиные крылья,
Бей, набат, и гремите, грома, —
Оборвалися цепи насилья,
И разрушена жизни тюрьма!

Широки черноморские степи,
Буйна Волга, Урал златоруд, —

Сгинь, кровавая плаха и цепи,
Каземат и неправедный суд!
и т. д.

Но далее появились характерно клюевские, фольклорные и даже религиозные образы, осмысляющие революцию как событие чисто крестьянской действительности:

Пролетела над Русью Жар-птица,
Ярый гнев зажигая в груди...
Богородица наша Землица,
Вольный хлеб мужику уроди!

Сбылись думы и давние слухи,
Пробудился Народ-Святогор —
Будет мед на домашней краюхе
И на скатерти ярок узор...

В. Соколов, тоже поэт, родом из тех же мест, был свидетелем того, как в 1918 году на литературном вечере в Вытегре Клюев читал свою «Красную песню»: «Начал он читать ее, — вспоминает В. Соколов, — с подкупающей искренностью, призывно... Пламенные слова начала стихотворения, напоминавшего «Марсельезу», были встречены восторженно. Но дальше замелькали иные слова: «богородица Землица», «Народ-Святогор», «наша Волюшка — божий гостинец», «ризы серафима», «Китеж-град»... Это не воспринималось слушателями всерьез. Редкие хлопки смутили устроителей концерта». Среди слушателей вряд ли

было много крестьян, но можно не сомневаться, что среди них были вчерашние крестьяне и красноармейцы. Земляки не поняли поэта.

Одним из первых, кто указал на ограниченность клюевской народности, был Есенин. Еще в 1917 году, когда оба поэта совместно выступали в повременном сборнике «Скифы», издававшемся группой неонародников во главе с Р. В. Ивановым-Разумником, Есенин стал критически относиться к творчеству Клюева. В частности, он бесповоротно осудил его «Песнь Солнценосца» и «Красную песню». Свою позицию Есенин с предельной ясностью изложил в письме от 26 июля 1920 года к Ширяевцу, который в своих стихах во многом следовал за Клюевым: «...брось ты, — советовал Есенин, — петь эту стилизованную клюевскую Русь с ее несуществующим Китежем и глупыми старухами; не такие мы, как это выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Все это, брат, было, вошло в гроб, так что же нюхать эти гнилые колодовые останки?»

«Застывший рисунок» — это, в общем-то, меткое определение клюевской поэзии — требует уточнения. Дело в том, что художественный мир поэзии Клюева обладал значительными способностями к расширению. В послеоктябрьские годы он принял в себя немало нового материала, в частности почерпнутого и из советской действительности. Нельзя игнорировать напряженные поиски поэта, упорно стремившегося проложить в своем творчестве путь к главной теме советской поэзии.

Об этом свидетельствуют его баллады «Богатырка» и «Ленинград». Обе они вносят существенную поправку в клюевские «избяные песни». В «Богатырке» сказались давние традиции русской патриотической поэзии: песенная задушевность, прозрачная ясность стиха, суровая романтика:

Моя родная богатырка —
Сестра в досуге и в борьбе,
Недаром огненная стирка
Прошла булатом по тебе!

Стирал тебя Колчак в Сибири
Братоубийственным штыком
И голод на поволжской шири
Костлявым гладил утюгом.

Это был и гимн революции, и скорбный памятник красногвардейцам, погибшим на поле брани в борьбе за правое дело. Красноармейский шлем, «родная богатырка», пропахшая «потом боевым», — священная реликвия для сынов и внуков. О великом подвиге народа поэт сумел рассказать с такой подкупающей душевной теплотой, как будто он сам носил эту «богатырку».

В балладе «Ленинград» воедино слились и драматическое напряжение, и романтическая окрыленность — восхищение героической современностью. Показательно, что Клюев, нередко грешивший стилистическим изыском и нагромождением образов, на этот раз создает классически точные, великолепной чеканки стихи. Он изображает Ле-

нинград, только что вышедший из пламени гражданской войны, справляющий на Марсовом поле поминки по павшим бойцам революции, — Ленинград, который работает, строится, излучает свет на все уголки земного шара. Поэт дорожит зрительной убедительностью образов, каждой «географической» подробностью, отражающей краски северной природы:

В излуке Балтийского моря,
Где невские волны шумят,
С косматыми тучами споря,
Стоит богатырь — Ленинград.

Зимой на нем снежные латы,
Метель голубая в усах,
Запутался месяц щербатый
В карельских густых волосах.

Главный «тезис» баллады — «стоит богатырь — Ленинград», стоит в любую погоду, с натруженными руками, прославленный своими делами, одухотворенный. С какой признательностью, с каким воодушевлением поэт говорит о трудовых подвигах ленинградцев, об интернациональном значении города Ленина, колыбели Октября!

С 1923 года Клюев жил в Ленинграде, часто посещая свою Олонецкую губернию. В Ленинграде в 1926 году он и создал свои выдающиеся произведения о Советской России. «Богатырка» и «Ленинград» достойны включения в самую строгую по отбору антологию советской поэзии.

11

Для многих современников Николай Клюев так и остался загадочным человеком. Живя в Ленинграде на Большой Морской, в самом центре города, известный поэт умудрился превратить свою большую и светлую комнату в заонежскую избу с полатями и лежанкой, разукрасить ее вышитыми полотенцами и деревенской резной орнаментикой, в красном углу под теплющейся лампадкой разместить древнерусские иконы. Он хотел быть похожим на олонецкого крестьянина, непременно с бородой и в суконной поддевке, причем на закоренелого, схожего со старообрядцами XVII столетия. Своими прадедами Клюев считал знаменитого протопопа Аввакума и Андрея Денисова, основателя Выговского общежития. Трудно сказать, что в этом шло от искреннего желания, от естественной потребности жить по заветам предков, а что — от искусственной позы, от стремления быть оригинальным и даже модным. Бесспорно лишь, что Клюев проявлял болезненную настороженность ко всему новому и выступал охранителем патриархальной старины, защищал избяное Заонежье от городской цивилизации, страшился, что техническая революция может разрушить незащищенную красоту природы, отрицательно скажется на состоянии созданного веками народного искусства, на деревенских обычаях и нравах.

Обращение Клюева к патриархальному прошлому нельзя расценивать только как бегство от современности, как неприятие ее. В наследии древ-

ней Руси поэт видел неумирающие эстетические и нравственные ценности, которые сохраняют свое значение и для будущего. Поэтому Клюев так дорожил историческим преданием и поэтикой народных мифов, а также самовитым народным словом. Особенно показательна в этом отношении одна из его лучших поэм — «Мать-Суббота», вышедшая отдельной книжкой в 1922 году в Петрограде. В ней содержатся вполне земные образы, отражающие многовековую мечту крестьян о материальном благополучии. Вещественное наполнение образов придает поэме утилитарный характер, небо превращается в пастбище, а Мать-Суббота — в обычную деревенскую пряху:

Вот и пещные ворота,
Где воркует голубь-сон,
И на камне Мать-Суббота
Голубой допряла лен.

Это особого рода космизм, берущий свое начало в древних космологических преданиях, в народной мифологии и орнаментике и в социально-этических легендах о сказочном Беловодье («избяной Индии»). Для поэмы показательно перетолковывание старых мифов в духе мировоззрения и эстетики самого поэта:

Невозмутимы луга тишины —
Пастбище тайн и овчинной луны.
Там небеса, как полати, теплы,
Овцы — оладьи, ковриги — волы,

Пищным отарам вожак — помело,
Отчая кровля — печное чело.

Ангел простых человеческих дел
Хлебным теленьям дал тук и предел.

И по содержанию и по форме «Мать-Суббота» подводит итог прежним художественным и идейным исканиям поэта, в ней сведены воедино многие мотивы клюевской лирики. Поэма в хорошем смысле традиционна для Клюева, для его жанровой и образной системы. «Мать-Суббота» тогда же была положительно оценена Вс. Рождественским («Книга и революция», 1923, № 2): «Тягучая пряжа, прошитая прекрасным рефреном: «Ангел простых человеческих дел», показывает привычное уже мастерство Клюева — нанизывателя олонецкого жемчуга. Что ни строчка, то метафора, но какого-то обнаженно-лингвистического порядка. Прием побеждает дух... Каждая строчка ее маленьких глав — отдельное стихотворение, которое Сергей Клычков или Петр Орешин развернули бы строфы на четыре. У хитрого Клюева слова на счету. Он скуповат, этот олонецкий сказочник. Он расточителен только в воображении. И тут уж, конечно, границ его дарования не учесть никакому „Обществу научного изучения фольклора“».

Именно «олонецкий сказочник», который искал в далеком прошлом прекрасные жемчужины, путешествовал то в сказочную «избяную Индию», то в столь же легендарный Китеж-град.

Не только Клюев, но и другие крестьянские поэты в начале 30-х годов никак не могли понять, что индустриализация деревни несет крестьянам огромное облегчение, послужит основанием для создания новой культуры и быта, социалистических отношений между людьми. Клюев особенно тяжело входил в современную деревню, которая переживала крутые социальные и экономические перемены. Он так и не смог выбраться из старых понятий, не создал глубоких художественных обобщений и не проник в суть изображаемых событий. Его поэмы «Заозерье» и «Деревня», опубликованные в 1927 году, не выходят за рамки чисто повествовательного описания, где все внимание сосредоточено на внешних эпизодах деревенской жизни, создании этнографических картин и речевых характеристик, сгущающих местный колорит. В «Заозерье» фольклорно-этнографические мотивы и образы заслоняют происходившие в деревне социальные события. Только в бытовых картинах поэту удается подметить какие-то важные штрихи уходящих обрядов. Изображая один из деревенских праздников, поэт в иронической манере рисует сельского попа, оставаясь верным своей всегдашней неприязни к церковным пастырям. Поэма называет вещи своими именами: молебны в день Егория сулят попу Алексею хлебный воз, а крестьянам — разорение. И все же Клюев любит именно такую, по старинке праздничную деревню, но только без попов и помещиков.

В «Деревне» Клюев рассказывает о появлении

трактора, «железного коня». Вместо есенинского огнедышащего паровоза — трактор. Но если Есенин сумел создать великолепные стихи о «красногривом жеребенке», проникнутые изумительной лирической взволнованностью, то Клюев не избежал обычной стилизации. Стихи получились вялые, инертные, слишком архаические.

В этой небольшой поэме множество исторических напоминаний, начиная с Куликова поля. Клюев опрокидывает историю в современность, повертывает «эпическое время» в XX век, сближает Ваську Буслаева с «синеглазым» Васяткой («Теперь бы книжку Васятке о Ленине и о царе»). На глазах у поэта происходит разрушение им же созданной легенды: мифы разбиваются о землю, которую они должны освящать. «Урожайный бог» и «железный конь» не знают примирения. Испуганные ласточки при виде «железного коня» покидают насиженные гнезда, доживает свой век степной жеребенок, истосковавшийся по раздольным лугам и чистому водопою. «Стальногрудый витязь» в «Деревне» — прежняя клюевская «чугунка». Клюев возвращается обратно, к «поэзии телег». В художественном отношении «Деревня» — произведение аморфное, составленное из малосвязанных кусков.

Многое зависело и от личного характера поэта — он был неуступчив в своих заблуждениях. Непримиримый ко всем врагам народа, к царской России и к буржуазному Западу, непосредственный участник двух революций, Клюев заблудился в собственной стране, которую беспредельно лю-

бил, любил как-то по-особенному, ревниво, болезненно. Свои трагические переживания, свой мужицкий «стяг» («за ковригу возносим стяг»), свои идеи, часто опровергаемые ходом истории, он пронес через всю свою многотрудную жизнь.

В стихах поэта все чаще и чаще встречаются роковые «печаль и седины»:

Но есть роковое: Печаль и Седины,
Плакучие ивы и воронов грай...
Отдайте поэту родные овины,
Где зреет напев — просяной каравай!

(*«Коровы — платиновые зубы. . .»*)

В литературной критике, особенно с конца 20-х годов, все чаще появляются мнения о том, что все творчество поэта — явление, чуждое советской действительности. К сожалению, дело не обошлось без грубых преувеличений и натяжек. Сложность ситуации заключалась в том, что некоторые литературные деятели, стоявшие на платформе Советской власти, не были свободны, при всей своей субъективной честности, от чересчур прямолинейных выводов и «перегибов», в частности от вульгарного социологизирования. Этим в особенности грешила критика рапповцев. Именно она более всего способствовала упрочению за Клюевым репутации кулацкого подголоска.

В 1929 году в журнале «Печать и революция» (№ 6) появилась статья Б. Ольхового «О попутничестве и попутчиках», в которой о Клюеве было

сказано, что «славословие революции» в его поэзии уживается с «противопоставлением городу и пролетариату „избяной Индии“», со стремлением «воспеть самое реакционное, что есть в деревне». А в следующем номере того же журнала появилась статья Осипа Бескина «Бард кулацкой деревни», главный тезис которой был сформулирован в ее заголовке. Однако ни одного серьезного довода, который бы доказывал причастность Клюева к кулацкой идеологии, там не было, да и не могло быть. Обвинения были основаны на домыслах и подозрениях, из которых тем не менее делался вполне определенный вывод.

Возникает вопрос: были ли со стороны литературной общественности попытки противостоять О. Бескину? Да, были. Так, например, В. Полонский в «Новом мире» (1930, № 1) писал о Клюеве и Клычкове: «Оба они «подлинные», потому что полновесными художественными образами и яркостью показывают нам внутренний лик этой деревенской «старины», еще не изжитой, еще цепляющейся за жизнь. В этом «показе» социальный смысл творчества Н. Клюева и С. Клычкова». Однако в условиях повсеместной ликвидации кулачества как класса выяснение истинного лица этих писателей требовало куда более серьезного и аргументированного разговора, который в то время не состоялся. Не случайно в 1929 году, сообщая об итогах Всероссийского съезда крестьянских писателей, журнал «На подъеме» (№ 7) извещал, что «старые реакционные писатели типа Клычкова и Клюева к крестьянским писателям Советско-

го Союза не имеют никакого отношения». Так Николай Клюев оказался за бортом советской литературы.

Говоря о крестьянских поэтах, об особенностях их мировоззрения, нужно, как нам кажется, всегда учитывать ленинские высказывания о крестьянских настроениях эпохи первых лет Октябрьской революции. В ноябре 1918 года Ленин говорил: «Мы хорошо знали, что крестьяне живут точно вросшие в землю; крестьяне боятся новшеств, они упорно держатся старины».[1] В эпоху становления новых экономических связей между городом и деревней, когда только что окончилась гражданская война и страна переживала голод и разруху, крестьяне еще многого недопонимали. Ленин в 1921 году откровенно указывал на то, что «только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую революцию в России... мы не должны стараться прятать что-либо, а должны говорить прямиком, что крестьянство формой отношений, которая у нас с ним установилась, недовольно...»[2]. В свете этих положений многие заблуждения крестьянских поэтов находят правильное историческое объяснение. В консерватизме мировоззрения Клюева, в ретроспективном

---

[1] В. И. Ленин, Речь на совещании делегатов комитетов бедноты центральных губерний 8 ноября 1918 г. — Полн. собр. соч., т. 37, с. 180.

[2] В. И. Ленин, X съезд РКП(б). Доклад о замене разверстки натуральным налогом 15 марта. — Полн. собр. соч., т. 43, с. 59.

характере его идеалов отражались пережитки патриархальных настроений широкой массы крестьянства, веками воспитывавшегося в инстинктивном недоверии к городу.

Версия о Клюеве-кулаке была придумана вульгарно-социологической критикой, ошибочно заподозрившей в фольклоризме поэта, в его увлечении социально-утопическими преданиями о Китеже-граде и особенно «Белой Индии» контрабанду новобуржуазной идеологии. Между тем Клюев создавал свои утопии не по образцу кулацких хозяйств с их бесчеловечной эксплуатацией чужого труда, варварской хищнической моралью, а вопреки им, направляя эти иносказания против всякой несправедливости и неравенства.

Образ Китежа-града расшифровывается без особого труда. Он пришел к поэту из широко бытовавших фольклорных легенд, послуживших основанием для оперы Римского-Корсакова «Сказание о Невидимом граде Китеже». Еще чаще Клюев обращается в своих стихах к сказочной Индии («Индия в красном углу»):

Певчим цветом алмазно заиндевел
Надо мной древесловный навес,
И страна моя, Белая Индия,
Преисполнена тайн и чудес!

(«Оттого в глазах моих просинь. . .»)

Чтобы понять образ «избяной Индии» или «Белой Индии» (то есть «Индии в русской светел-

ке»), который принес столько нареканий поэту, для этого нужно вспомнить фольклорные и книжные сказания «об индейском царстве».

Еще в глубокую старину на Руси бытовали рассказы об Индии как стране райского блаженства. Прославление счастливой Индии, скрывающейся за далекими морями, встречается в былинах, духовных стихах и сказках. В «Индеюшку богатую» совершают поездки богатыри (былины «Дюк Степанович», «Илья Муромец и разбойники»). У Клюева были и другие основания интересоваться легендарной страной.

Упоминание о праведной жизни рахманов (брахманов или браминов) встречается еще в Несторовой летописи со ссылкой на хронику Георгия Амартола. Затем эта легенда излагается в сборнике старца Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина (XV век). Русский книжник прибавил к ней сведения о том, что у рахманов нет ни царей, ни вельмож, нет купли-продажи, разбоя и других пороков. О рахманах как образцовых христианах рассказывается и в «Хождении Зосимы к рахманам».

Прослеживая генезис философско-нравоучительной легенды о пресвитере Иоанне, А. Н. Веселовский писал о том, что она повествует «о далеком христианском царстве, где люди блаженствуют, не зная ни лжи, ни татьбы, ни разврата, где земля все дает в изобилии, а всем правит властитель, пресвитер и царь в одном лице: пресвитер Иоанн».

Нет сомнения, что во всех этих сказаниях выражена мечта народных масс найти такой уголок земли, где бы деревенскому труженику жилось вольготно и по справедливости.

Клюев использует в своем художественном творчестве народные предания и легенды о «мужицком рае» с молочными реками и кисельными берегами, с пирогами и медом. В этом, разумеется, не было ничего плохого. Но свой «хлебный рай» поэт мыслил исключительно в пределах патриархального крестьянского быта. А это было глубоким заблуждением. Подобного «мужицкого рая» не существовало ни в Древней Руси, ни тем более в поздние времена. Еще более серьезной ошибкой было то, что Клюев настойчиво предъявлял свои утопии новому обществу в качестве некоей модели будущего. Между тем выход деревни к зажиточной жизни лежал как раз в преодолении остатков патриархальности, в сближении деревни с социалистическим городом, чего, к большому сожалению, поэт так и не осознал.

12

Дмитрий Фурманов назвал Клюева «мастером разукрашивать». Поэт рисует, как живописец, и, как ваятель, лепит образы, вырезает детали, делает слово выпуклым, осязаемым. У него острый взгляд на вещи, предметы крестьянского обихода, животный и растительный мир, на все явления природы.

Оттого в глазах моих просинь,
Что я сын Великих озер.
Точит сизую киноварь осень
На родной беломорский простор.
На закате плещут тюлени,
Загляделся в озеро чум...
Златороги мои олени —
Табуны напевов и дум.

(«Оттого в глазах моих просинь. . .»)

Звуковая организация стиха еще ярче оттеняет зрительный характер образов. Одним словом — звукоцвет — определяет Клюев своеобразие своей колористической поэзии. Из сочетания зрительных и слуховых впечатлений возникают «табуны напевов и дум».

Предметной осязаемости и богатству красок Клюев учился у Державина и отчасти у акмеистов. У него державинская ощутимость предметного мира, но сам его поэтический мир — избяной, деревенский, будничный. Так, своему земляку Н. И. Архипову Клюев посвящает стихотворение, по форме вполне традиционное, в жанре обычных дружеских посланий. Поэт приглашает друга к обеду, за семейный стол. И сам стол, запросто убранный, без всяких излишеств, и «горбатые», шероховатые «буквы-побирушки» («горбаты буквы-побирушки») по-своему великолепны, осязаемы и наглядны. Даже комар удостаивается необычного словесного изображения:

С бараньих почек сладкий жир,
Как суслик, прыскает свечою.

И вдовий коротает пир
Комар за рамою двойною.

В народном декоруме Клюев находит соразмерность линий и «внутреннюю музыку». О поэте можно сказать его же собственными стихами о «красном древоделе»:

Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепа как письмена:
Запоет резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна.

(«От кудрявых стружек тянет смолью. . .»)

В поэзии Клюева есть что-то общее с живописью Н. К. Рериха, с которым он был близко знаком (они встречались в «Красе» Сергея Городецкого). В цикле картин «Начало Руси. Славяне» предметы древности, по словам современного исследователя, получают у Рериха «такое окружение природной средой, которое внутренне присуще им самим: они сливаются с нею, и их красота, и их сила как бы возникают из красоты и силы самой природы, почувствованной сердцем самого народа русского».[1] В обоих случаях — в поэзии Клюева и в живописи Рериха — огромное значение имеют летописные и фольклорные источники, народное декоративно-прикладное искусство, древнее зодчество. Клюев увлекался фресковой

---

[1] В. Кеменов, Образы Рериха. — «Литературная газета», 1974, 20 декабря.

живописью, сам писал иконы, подражая древним новгородским мастерам; в поэзии он тоже «малюет», разукрашивает, золотит слово, добиваясь максимальной зрительной наглядности. В самом деле, орнаментальность — один из главнейших стилеобразующих элементов клюевской поэтики, материальный источник его поэзии. Поэт создает словесные узоры, которые просятся на холст или дерево, чтобы соседствовать с народным орнаментом. «Поэзии ковер» соткан на деревенском станке, и краски на нем самые что ни на есть обыкновенные, синие, голубые, зеленые, розовые с примесью позолоты, и рисунок у Клюева узорчатый, как у вологодских кружевниц. Даже «птица золотая» гнездится среди вещей, которые составляют непременную принадлежность крестьянского обихода. В лучших стихах Клюева «пир метафор» по-крестьянски праздничен, красочен и... скромен, без державинских излишеств. Рядом с образами «избяного космоса», берущими свое начало тоже в природе и в деревенской избе («Беседная изба — подобие вселенной»), — овдовевшее «лысатое» поле, «простуженная старая печь», «комар за рамою двойною» и множество других бытовых подробностей. Даже осеннее солнце напоминает «старую лодку»:

Октябрьское солнце, косое, дырявое,
Как старая лодка, рыбачья мерда,
Баюкает сердце, незрячее, ржавое,
Как якорь на дне, как глухая руда.

(«Октябрьское солнце, косое, дырявое...»)

Целый набор живописных деталей. Из четырех строк складывается описание беломорского рыбачьего села, его обыденной повседневности. Поэт как бы рисует с натуры, но непременно и природу и быт освещает двойным светом. Метафоры приобретают значение символов. На беломорские просторы ложится отсвет мировой культуры и истории народа. Язычески-эллинское понимание природы:

В русском коробе, в эллинской вазе
Брезжат сполохи — полюсный щит,
И сапфир самоедского князя
На халдейском тюрбане горит.

(«Я потомок лапландского князя. . .»)

Но главным источником живописной палитры Клюева всегда является природа русского Севера. Об орнаментальных стихах поэта можно сказать его собственными словами:

В этой книге страницы — китовьи затоны,
На буквенных скалах — лебяжий базар,
И каркают точки — морские вороны,
Почуя стихов ледовитый пожар.
В той книге строка — беломорские села
С бревенчатой сказкою изб и дворов,
Где тень — медвежонок, и бабы с подола
Стряхают словесных куниц и бобров.

(«Четвертый Рим»)

Клюев часто прибегает к уподоблению явлений органической природы образам животного мира

(зооморфизмы). В стихотворении «Пушистые горностаевые зимы...» содержатся по-настоящему прекрасные картины «вешних перелесков», хотя в том же стихотворении есть и совсем вялые или слишком изысканные строфы. Но «осетры янтарные» вырываются из тенистого словесного «болота», стихи о природе звучат, как чистый лесной ручей О «птахах» и «осетрах» Клюев пишет с эпическим полногласием. Поэт имеет в виду и летописные сказания о «новгородских владениях», где природа восстает как какое-то чудо, сотворенное на удивление человеку. И, конечно, Клюев не забывает народную эпическую поэзию, былины о чудесном Вольге, который со своей дружиною ловил «дорогую рыбку осетринку».

Образы «тварей» поражают буйством красок, ощутимой наглядностью, какой-то особой восторженностью:

В теле буйство вешних перелесков:
Под ногтями птахи гнезда вьют,
В алой пене от сердечных плесков
Осетры янтарные снуют.

(*«Пушистые горностаевые зимы...»*)

Клюев не боялся словесного риска, он любил экспериментировать, повертывать слова неожиданной стороной. Его заостренные и энергичные, красочные и порой причудливые стихи требуют от читателя известного напряжения.

Поэт специально собирал и вынашивал редкие, самоцветные слова, ссылаясь на пример Пушки-

на, который прислушивался к говору московских просвирен. В одном из писем к В. С. Миролюбову (1915?) Клюев пояснял, что своими художественными достижениями он многим обязан живому народному языку —«словам бытового народного колдовства, которыми народ говорит со своей душой и природой». «...Там, где требовала гармония и власть слова, я, — писал Клюев Миролюбову, — оставлял нетронутыми подлинно народные слова и образы, которые я прошу не принимать только за олонецкие, так как они (слова, наречия) держатся крепко, как я знаю из опыта, во всей северной России и Сибири». [1]

Сами по себе отдельно взятые элементы неоднородного поэтического стиля Клюева еще мало о чем говорят. Только в совокупности, во взаимодействии общих принципов организации стиха, изобразительных средств, создающих зрительные впечатления (мир красочный), инструментовки отдельных фраз и целых строф на определенные звуки (музыка стиха) проясняется конкретная наполненность словесного рисунка. Смысловое значение художественных образов в поэзии Клюева не лежит на поверхности. Часто читателю приходится пробиваться через завалы метафорических уподоблений и диалектных слов. Поэт как бы создает поэтические загадки, доподлинное содержание которых разгадывается с помощью специальных «заставок». Дополнительные образы —

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР.

«заставки», попав в бурный поток метафор, сами превращаются в носителей новых слуховых и зрительных впечатлений. Отсюда и наполнение самой эмблематики, разрастание метафор в символы, способность стиха впитывать по аналогии образы самой природы и овеществлять их. Столь развернутая символика словаря и образов показательна для народных загадок и обрядовых песен.

В кладовой народного слова, в образной системе фольклора, в живом разговорном языке хранились ценнейшие пособия клюевской поэзии. Из поэтического наследия «олонецкого крестьянина» выжили лучшие его произведения, выросшие из народной почвы и отмеченные талантом художника-живописца.

Превосходный знаток крестьянского быта, народного искусства, культуры Древней Руси, вдохновенный певец родной природы, Клюев не потерял своего значения и в наши дни. Несмотря на то, что магистральная тема произведений Клюева — тема избяной, мужицкой России, в целом его творчество имеет более широкий смысл. В лирике природы Клюев касается вечно живой темы искусства всех народов и стран — гармонических отношений человека и природы. Но верно и то, что Клюев, обладавший ярким и самобытным дарованием, оказался на периферии литературного процесса, на проселочной дороге, которая так и не вывела его на широкий путь советской поэзии.

В минуты горьких размышлений поэт думал о молодом поколении, к нему обращался с прось-

бой не судить слишком строго за его поклоны «дедовским иконам»:

Недоуменно не кори,
Что мало радио-зари
В моих стихах — бетона, гаек,
Что о мужицком хлебном рае
Я нудным оводом бубню,
Иль костромским сосновым звоном!
Я отдал дедовским иконам
Поклон до печени земной,
Микула с мудрою сохой,
И надломил утесом шею...

(«Недоуменно не кори...»)

Не будем корить поэта, но и не будем забывать, что главнейшее его заблуждение, главная его «вина» перед русской поэзией заключается отнюдь не в чрезмерной любви к патриархальному быту крестьян и древней Руси, а в том, что, ожидая воскрешения этого быта, он пытался наперекор истории навязать свои идеалы современности. Поэт оказался очень плохим пророком. Все это сузило его творческие возможности, мешало видеть вещи в их настоящем свете, лишало широких и прочных контактов с развивающейся социалистической действительностью.

Вас. Базанов

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Где вы, порывы кипучие,
Чувств безграничный простор,
Речи проклятия жгучие,
Гневный насилью укор?

Где вы, невинные, чистые,
Смелые духом борцы,
Родины звезды лучистые,
Доли народной певцы?

Родина, кровью облитая,
Ждет вас, как светлого дня,
Тьмою кромешной покрытая,
Ждет — не дождется огня!

Этот огонь очистительный
Факел свободы зажжет
Голос земли убедительный —
Всевыносящий народ.

‹1905›

* * *

«Безответным рабом
Я в могилу сойду,
Под сосновым крестом
Свою долю найду».

Эту песню певал
Мой страдалец-отец
И по смерть завещал
Допевать мне конец.

Но не стоном отцов
Моя песнь прозвучит,
А раскатом громов
Над землей пролетит.

Не безгласным рабом,
Проклиная житье,
А свободным орлом
Допою я ее.

(1905)

* * *

Холодное, как смерть, равниной бездыханной
Болото мертвое раскинулось кругом,
Пугая робкий взор безбрежностью туманной,
Зловещее в своем молчанье ледяном.

Болото курится, как дымное кадило,
Безгласное, как труп, как камень мостовой.
Дитя моей любви, не для тебя ль могилу
Готовит здесь судьба незримою рукой!

Избушка ветхая на выселке угрюмом
Тебя, изгнанницу святую, приютит,
И старый бор печально-строгим шумом
В глухую ночь невольно усыпит.

Но чуть рассвет затеплится над бором,
Прокрякает чирок в надводном
тростнике —
Болото мертвое немеренным простором
Тебе напомнит вновь о смерти и тоске.

‹1907›

КАЗАРМА

Казарма мрачная с промерзшими стенами,
С недвижной полутьмой зияющих углов,
Где зреют злые сны осенними ночами
Под хриплый перезвон недремлющих часов, —
Во сне и наяву встает из-за тумана
Руиной мрачною из пропасти она,
Как остров дикарей на глади океана,
Полна зловещих чар и ужасов полна.
Казарма дикая, подобная острогу,
Кровавою мечтой мне в душу залегла,
Ей молодость моя, как некоему богу,
Вечерней жертвою принесена была.
И часто в тишине полночи бездыханной
Мерещится мне въявь военных плацев гладь,
Глухой раскат шагов и рокот барабанный —
Губительный сигнал: идти и убивать.
Но рядом клик другой, могучее сторицей,
Рассеивая сны, доносится из тьмы:
«Сто раз убей себя, но не живи убийцей,
Несчастное дитя казармы и тюрьмы!»

‹1907›

* * *

Горниста смолк рожок... Угрюмые солдаты
На нары твердые ложатся в тесный ряд,
Казарма, как сундук, волшебствами заклятый,
Смолкает, хороня живой, дышащий клад.
И сны, вампиры-сны, к людскому изголовью
Стекаются в тиши незримою толпой,
Румяня бледность щек пылающею кровью,
Под тиканье часов сменяясь чередой.
Казарма спит в бреду, но сон ее опасен,
Как перед бурей тишь зловещая реки. —
Гремучий динамит для подвига припасен,
Для мести без конца отточены штыки.
Чуть только над землей, предтечею рассвета,
Поднимется с низин редеющий туман —
Взовьется в небеса сигнальная ракета,
К восстанью позовет условный барабан.

‹1907›

* * *

Мы любим только то, чему названья нет,
Что, как полунамек, загадочностью мучит:
Отлеты журавлей, в природе ряд примет
Того, что прозревать неведомое учит.

Немолчный жизни звон, как в лабиринте стен,
В пустыне наших душ бездомным эхом бродит;
А время, как корабль, под плеск попутных пен,
Плывет и берегов желанных не находит.

И обращаем мы глаза свои с тоской
К Минувшего Земле — не видя стран грядущих...

. . . .

В старинных зеркалах живет красавиц рой,
Но смерти виден лик в их омутах зовущих.

‹1907›

НА ЧАСАХ

На часах у стен тюремных,
У окованных ворот,
Скучно в думах неизбежных
Ночь унылая идет.
Вдалеке волшебный город,
Весь сияющий в огнях,
Здесь же плит гранитных холод
Да засовы на дверях.
Острый месяц в тучах тонет,
Как обломок палаша;
В каждом камне, мнится, стонет
Заключенная душа.
Стонут, бьются души в узах
В безучастной тишине.
Все в рабочих синих блузах,
Земляки по крови мне.
Закипает в сердце глухо
Яд пережитых обид...
Мать родимая старуха,
Мнится, в сумраке стоит,
К ранцу жалостно и тупо
Припадает головой...

Одиночки, как уступы,
Громоздятся надо мной.
Словно глаз лукаво-грубый,
За спиной блестит ружье,
И не знаю я — кому бы
Горе высказать свое.
Жизнь безвинно-молодую
Загубить в расцвете жаль, —
Неотступно песню злую
За спиною шепчет сталь.
Шелестит зловеще дуло:
«Не корись лихой судьбе.
На исходе караула
В сердце выстрели себе
И умри безумно молод,
Тяготенье кончи дней. . .»
За тюрьмой волшебный город
Светит тысячью огней.
И огни, как бриллианты,
Блесток радужных поток. . .
Бьют унылые куранты
Череды унылой срок.

‹1907›

ПРОГУЛКА

Двор, как дно огромной бочки,
Как замкнутое кольцо;
За решеткой одиночки
Чье-то бледное лицо.

Темной кофточки полоски,
Как ударов давних след,
И девической прически
В полумраке силуэт.

После памятной прогулки,
Образ светлый и родной,
В келье каменной и гулкой
Буду грезить я тобой.

Вспомню вечер безмятежный,
В бликах радужных балкон
И поющий скрипкой нежной
За оградой граммофон,

Светлокрашеную шлюпку,
Вёсел мерную молву,

Рядом девушку-голубку —
Белый призрак наяву...

Я всё тот же — мощи жаркой
Не сломил тяжелый свод...
Выйди, белая русалка,
К лодке, дремлющей у вод!

Поплывем мы... Сон нелепый!
Двор, как ямы мрачной дно,
За окном глухого склепа
И зловеще и темно.

‹1907›

* * *

Я говорил тебе о боге,
Непостижимое вещал
И об украшенном чертоге
С тобою вместе тосковал.

Я тосковал о райских кринах,
О берегах иной земли,
Где в светло дремлющих заливах
Блуждают сонно корабли.

Плывут преставленные души
В не затемненный далью путь,
К Материку желанной суши
От бурных странствий отдохнуть.

С тобой впервые разгадали
Мы очертанья кораблей
В тумане сумеречной дали,
За гранью слившихся морей.

И стали чутки к откровенью
Незримо веющих сирен,

Всегда готовы к выступленью
Из Лабиринта бренных стен.

Но иногда мы чуем оба
Ошибки чувства и ума:
О, неужель за дверью гроба
Нас ждут неволя и тюрьма?

Всё так же будет вихрь попутный
Крутить метельные снега,
Синеть чертою недоступной
Вдали родные берега?

Свирелью плачущей сирены
Томить пугливые сердца
И океан лохмотья пены
Швырять на камни без конца?

⟨1908⟩

* * *

Любви начало было летом,
Конец — осенним сентябрем.
Ты подошла ко мне с приветом
В наряде девичьи простом.

Вручила красное яичко
Как символ крови и любви:
Не торопись на север, птичка,
Весну на юге обожди!

Синеют дымно перелески,
Настороженны и немы,
За узорочьем занавески
Не видно тающей зимы.

Но сердце чует: есть туманы,
Движенье смутное лесов,
Неотвратимые обманы
Лилово-сизых вечеров.

О, не лети в туманы пташкой!
Года уйдут в седую мглу —

Ты будешь нищею монашкой
Стоять на паперти в углу.

И, может быть, пройду я мимо,
Такой же нищий и худой...
О, дай мне крылья херувима
Лететь незримо за тобой!

Не обойти тебя приветом
И не раскаяться потом...
Любви начало было летом,
Конец — осенним сентябрем.

‹1908›

* * *

Ты всё келейнее и строже,
Непостижимее на взгляд...
О, кто же, милостивый боже,
В твоей печали виноват?

И косы пепельные глаже,
Чем раньше, стягиваешь ты,
Глухая мать сидит за пряжей —
На поминальные холсты.

Она нездешнее постигла,
Как ты, молитвенно строга...
Блуждают солнечные иглы
По колесу от очага.

Зимы предчувствием объяты,
Рыдают сосны на бору;
Опять глухие казематы
Тебе приснятся ввечеру.

Лишь станут сумерки синее,
Туман окутает реку, —

Отец, с веревкою на шее,
Придет и сядет к камельку.

Жених с простреленною грудью,
Сестра, погибшая в бою, —
Все по вечернему безлюдью
Сойдутся в хижину твою.

А Смерть останется за дверью,
Как ночь, загадочно темна.
И до рассвета суеверью
Ты будешь слепо предана.

И не поверишь яви зрячей,
Когда торжественно в ночи
Тебе — за боль, за подвиг плача —
Вручатся вечности ключи.

‹1908, 1911›

* * *

Я надену черную рубаху
И вослед за мутным фонарем
По камням двора пройду на плаху
С молчаливо-ласковым лицом.

Вспомню маму, крашеную прялку,
Синий вечер, дрёму паутин,
За окном ночующую галку,
На окне любимый бальзамин,

Луговин поёмные просторы,
Тишину обкошенной межи,
Облаков жемчужные узоры
И девичью песенку во ржи:

Узкая полосынька
Клинышком сошлась —
Не вовремя косынька
На две расплелась!

Развилась по спинушке,
Как льняная плеть, —

Не тебе, детинушке,
Девушкой владеть!

Деревца вилавого
С маху не срубить—
Парня разудалого
Силой не любить!

Белая березонька
Клонится к дождю. . .
Не кукуй, загозынька,
Про судьбу мою! . .

Но прервут куранты крепостные
Песню-думу боем роковым. . .
Бред души! То заводи речные
С тростником поют береговым.

Сердца сон, кромешный, как могила!
Опустил свой парус рыбарь-день.
И слезятся жалостно и хило
Огоньки прибрежных деревень.

⟨1908⟩

* * *

«Я был в духе в день воскресный».
Апок⟨алипсис⟩, гл. 1, 10

Я был в духе в день воскресный,
Осененный высотой,
Просветленно-бестелесный
И младенчески простой.

Видел ратей колесницы,
Судный жертвенник и крест,
Указующей десницы
Путеводно-млечный перст.

Источая кровь и пламень,
Шестикрыл и многолик,
С начертаньем белый камень
Мне вручил Архистратиг.

И сказал: «Венчайся белым
Твердокаменным венцом,
Будь убог и темен телом,
Светел духом и лицом.

И другому талисману
Не вверяйся никогда —
Я пасти не перестану
С высоты свои стада.

На крылах кроваво-дымных
Облечу подлунный храм
И из пепла тел невинных
Жизнь лазурную создам».

Верен ангела глаголу,
Вдохновившему меня,
Я сошел к земному долу,
Полон звуков и огня.

‹1908›

* * *

Горние звезды как росы.
Кто там в небесном лугу
Точит лазурные косы,
Гнет за дугою дугу?

Месяц, как лилия, нежен,
Тонок, как профиль лица.
Мир неоглядно безбрежен.
Высь глубока без конца.

Слава нетленному чуду,
Перлам, украсившим свод,
Скоро к голодному люду
Пламенный вестник придет.

К зрячим нещадно суровый,
Милостив к падшим в ночи,
Горе кующим оковы,
Взявшим от царства ключи.

Будьте ж душой непреклонны
Вы, кому свет не погас,
Ткут золотые хитоны
Звездные руки для вас.

‹1908›

* * *

Помню я обедню раннюю,
Вереницы клобуков,
Над толпою покаянною
Тяжкий гул колоколов.

Опьяненный перезвонами,
Гулом каменно-глухим,
Дал обет я пред иконами
Стать блаженным и святым.

И в ответ мольбе медлительной,
Покрывая медный вой,
Голос ясно-повелительный
Мне ответил: «Ты не Мой».

С той поры я перепутьями
Невидимкою блуждал,
Под валежником и прутьями
Вместе с ветром ночевал.

Истекли грехопадения,
И посланец горних сил

Безглагольного хваления
Путь заблудшему открыл.

Знаки замысла предвечного —
Зодиака и Креста,
И на плате солнца млечного
Лик прощающий Христа.

Между 1908 и 1911

ПОЭТ

Наружный я и зол и грешен,
Неосязаемый — пречист,
Мной мрак полуночи кромешен,
И от меня закат лучист.

Я смехом солнечным младенца
Пустыню жизни оживлю
И жажду душ из чаши сердца
Вином певучим утолю.

Так на рассвете вдохновенья
В слепом безумье грезил я,
И вот предтечею забвенья
Шипит могильная змея.

Рыдает колокол усопший
Над прахом выветренных плит,
И на кресте венок поблекший
Улыбкой солнце золотит.

1908 или 1909

ОБИДИН ПЛАЧ

В красовитый летний праздничек,
На раскат-широкой улице,
Будет гульное гуляньице —
Пир — мирское столованьице.
Как у девушек-согревушек
Будут поднизи плетеные,
Сарафаны золоченые,
У дородных добрых молодцев,
Мигачей и залихватчиков,
Перелетных зорких кречетов,
Будут шапки с кистью до уха,
Опояски соловецкие,
Из семи шелков плетеные.
Только я, млада, на гульбище
Выйду в старо-старом рубище,
Нищим лыком опоясана...
Сгомонятся красны девушки,
Белолицые согревушки, —
Как от торопа повального
Отшатятся на сторонушку.
Парни ражие, удалые
За куветы встанут талые,
Притулятся на завалины

Старики, ребята малые —
Диво-дивное увидючи,
Промежду себя толкуючи:
«Чья здесь ведьма захудалая
Ходит, в землю носом клюючи?
Уж не горе ли голодное,
Лихо злое, подколодное,
Забежало частой рощею,
Корбой темною, дремучею,
Через лягу — грязь топучую,
Во селенье домовитое,
На гулянье круговитое?
У нас время недогуляно,
Зелено вино недопито,
Девицы недоцелованы,
Молодцы недолюбованы,
Сладки пряники не съедены,
Серебрушки недоменяны...»

Тут я голосом, как молотом,
Выбью звоны колокольные:
«Не дарите меня золотом,
Только слухайте, крещеные:
Мне не спалось ночкой синею
Перед Спасовой заутреней.
Вышла к озеру по инею,
По росе медвяной, утренней.
Стала озеро выспрашивать,
Оно стало мне рассказывать
Тайну тихую поддонную
Про святую Русь крещеную.
От озерной прибауточки,

Водяной потайной басенки,
Понабережье насупилось,
Пеной-саваном окуталось.
Тучка сизая проплакала —
Зернью горькою прокапала,
Рыба в заводях повытухла,
На лугах трава повызябла...

Я поведаю на гульбище
Праздничанам-залихватчикам,
Что мне виделось в озерышке,
Во глуби на самом донышке.
Из конца в конец я видела
Поле грозное, убойное,
Костяками унавожено.
Как на полюшке кровавоём
Головами мосты мощены,
Из телес реки пропущены,
Близ сердечушка с ружья паля,
О бока пуля пролятыва,
Над глазами искры сыплются...
Оттого в заветный праздничек
На широкое гуляньице
Выйду я, млада, непутною,
Встану вотдаль немогутною,
Как кручинная кручинушка,
Та пугливая осинушка,
Что шумит-поет по осени
Песню жалкую свирельную,
Ронит листья — слезы желтые
На могилу безымянную».

‹1908, 1919›

* * *

Не оплакано былое,
За любовь не прощено.
Береги, дитя, земное,
Если неба не дано.

Об оставленном не плачь ты, —
Впереди чудес земля,
Устоят под бурей мачты,
Грудь родного корабля.

Кормчий молод и напевен,
Что ему бурун, скала?
Изо всех морских царевен
Только ты ему мила —

За глаза из изумруда,
За кораллы на губах...
Как душа его о чуде,
Плачет море в берегах.

Свой корабль за мглу седую
Не устанет он стремить,
Чтобы сказку ветровую
Наяву осуществить.

‹1909›

* * *

Вы, белила-румяна мои,
Дорогие, новокупленные,

На меду-вине разволженные,
На бело лицо положенные,

Разгоритесь зарецветом на щеках,
Алым маком на девических устах,

Чтоб пригоже меня, краше не было́,
Супротивницам-подруженькам назло.

Уж я выйду на широкую гульбу —
Про свою людям поведаю судьбу:

«Вы не зарьтесь на жар-полымя румян,
Не глядите на парчовый сарафан.

Скоро девушку в полон заполонит
Во пустыне тихозвонный, белый скит».

Скатной ягоде не скрыться при пути —
От любови девке сердца не спасти.

‹1909›

СЛОБОДСКАЯ

Как во нашей ли деревне —
В развеселой слободе,
Был детина, как малина,
Тонкоплеч и чернобров;

Он головушкой покорен,
Сердцем-полымем ретив,
Дозволенья ожениться
У родителя просил.

На кручинное моленье
Не ответствовал отец, —
Тем на утреннем пролете
Сиза голубя сгубил:

У студеного поморья,
На пустынном берегу,
Сын под елью в темной келье
Поселился навсегда.

Иногда из кельи строгой
На уклон выходит он

Поглядеть, как стелет море
По набе́режью туман,

Как плывут над морем тучи,
Волны буйные шумят,
О любови, о кручине,
О разлуке говорят.

⟨1909⟩

* * *

Не говори, — без слов понятна
Твоя предзимняя тоска,
Она, как море, необъятна,
Как мрак осенний, глубока.

Не потому ли сердцу мнится
Зимы венчально-белый сон,
Что смерть костлявая стучится
У нашей хижины окон?

Что луч зари ущербно-острый
Померк на хвойной бахроме...
Не проведут ли наши сестры,
Как зиму, молодость в тюрьме?

От их девического круга,
Весну пророчащих судьбин
Тебе осталася лачуга,
А мне — медвежий карабин.

Но, о былом не сожалея,
Мы предвесенни, как снега...

О чем же, сумеречно тлея,
Вздыхает пламя очага?

Или пока снегов откосы
Зарозовеют вешним днем —
Твои отливчатые косы
Затмятся зимним серебром?

‹1910›

ГОЛОС ИЗ НАРОДА

Вы — отгул глухой, гремучей,
Обессилевшей волны,
Мы — предутренние тучи,
Зори росные весны.

Ваши помыслы — ненастье,
Дрожь и тени вечеров,
Наши — мерное согласье
Тяжких времени шагов.

Прозревается лишь в книге
Вами мудрости конец, —
В каждом облике и миге
Наш взыскующий Отец.

Ласка Матери-природы
Вас забвеньем не дарит, —
Чародейны наши воды
И огонь многоочит.

За слиянье нет поруки,
Перевал скалист и крут,

Но бесплодно ваши стуки
В лабиринте не замрут.

Мы, как рек подземных струи,
К вам незримо притечем
И в безбрежном поцелуе
Души братские сольем.

1910

* * *

Костра степного взвивы,
Мерцанье высоты,
Бурьяны, даль и нивы —
Россия — это ты!

На мне бойца кольчуга,
И, подвигом горя,
В туман ночного луга
Несу светильник я.

Вас, люди, звери, гады,
Коснется ль вещий крик:
Огонь моей лампады —
Бессмертия родник!

Всё глухо. Точит злаки
Степная саранча...
Передо мной во мраке
Колеблется свеча,

Роняет сны-картинки
На скатертчатый стол —
Минувшего поминки,
Грядущего симво́л.

1910

АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

1

Верить ли песням твоим —
Птицам морского рассвета, —
Будто туманом глухим
Водная зыбь не одета?

Вышли из хижины мы,
Смотрим в морозные дали:
Духи метели и тьмы
Взморье снегами сковали.

Тщетно тоскующий взгляд
Скал испытует граниты, —
В них лишь родимый фрегат
Грудью зияет разбитой.

Долго ль обветренный флаг
Будет трепаться так жалко? ..
Есть у нас зимний очаг,
Матери мерная прялка.

В снежности синих ночей
Будем под прялки жужжанье

Слушать пролет журавлей,
Моря глухое дыханье.

Радость незримо придет,
И над вечерними нами
Тонкой рукою зажжет
Зорь незакатное пламя.

2

Я болен сладостным недугом —
Осенней, рдяною тоской.
Нерасторжимым полукругом
Сомкнулось небо надо мной.

Она везде, неуловима,
Трепещет, дышит и живет:
В рыбачьей песне, в свитках дыма,
В жужжанье ос и блеске вод.

В шуршанье трав — ее походка,
В нагорном эхо — всплески рук,
И казематная решетка —
Лишь символ смерти и разлук.

Ее ли косы смоляные,
Как ветер смех, мгновенный взгляд...
О, кто Ты: Женщина? Россия?
В годину черную собрат!

Поведай: тайное сомненье
Какою казнью искупить,
Чтоб на единое мгновенье
Твой лик прекрасный уловить?

1910

* * *

«Не жди зари, она погасла,
Как в мавзолейной тишине
Лампада чадная без масла...» —
Могильный демон шепчет мне.

Душа смежает робко крылья,
Недоуменно смущена,
Пред духом мрака и насилья
Мятется трепетно она.

И демон сумрака кровавый
Трубит победу в смертный рог.
Смутился кубок брачной славы,
И пуст украшенный чертог.

Рассвета луч не обагрянит
Вино в бокалах круговых,
Пока из мертвых не восстанет
Гробнице преданный Жених.

Пока же камень не отвален,
И стража тело стережет,
Душа безмолвие развалин
Чертога брачного поет.

1910

* * *

Сегодня небо, как невеста,
Слепит венчальной белизной,
И от ворот — до казни места
Протянут свиток золотой.

На всем пути он чист и гладок,
Печатью скрепленный слегка,
Для человеческих нападок
В нем не нашлося уголка.

Так отчего глядят тревожно
Твои глаза на неба гладь?
Я обещаюсь непреложно
Тебе и в нем принадлежать.

Ласкать, как в прошлом, плечи, руки
И пряди пепельные кос...
В неотвратимый час разлуки
Не нужно робости и слез.

Лелеять нам одно лишь надо:
По злом минутии конца,
К уборке трав и винограда
Прибыть в обители Отца.

Чтоб не опали ягод грозди,
Пока отбытья длится час,
И наших ног, ладоней гвозди
Могли свидетельствовать нас.

1910

* * *

Есть то, чего не видел глаз,
Не уловляло вечно ухо:
Цветы лучистей, чем алмаз,
И дали призрачнее пуха.

Недостижимо смерти дно,
И реки жизни быстротечны,
Но есть волшебное вино
Продлить чарующее вечно.

Его испив, немеркнущ я,
В полете времени безлетен,
Как моря вал — из бытия
Умчусь певуч и многоцветен.

И всем, кого томит тоска,
Любовь и бренные обеты,
Зажгу с высот Материка
Путеводительные светы.

1910

ОТВЕРЖЕННОЙ

Если б ведать судьбину твою,
Не кручинить бы сердца разлукой
И любовь не считать бы свою
За тебя нерушимой порукой.

Не гадалося ставшее мне,
Что, по чувству сестра и подруга,
По своей отдалилась вине
Ты от братьев сурового круга.

Оттого, как под ветром ковыль,
И разлучная песня уныла,
Что тебе побирушки костыль
За измену судьба подарила.

И неведомо: я ли не прав
Или сердце к тому безучастно,
Что, отверженной облик приняв,
Ты, как прежде, нетленно прекрасна?

1910

* * *

В златотканые дни сентября
Мнится папертью бора опушка.
Сосны молятся, ладан куря,
Над твоей опустелой избушкой.

Ветер-сторож следы старины
Заметает листвой шелестящей.
Распахни узорочье сосны,
Промелькни за березовой чащей!

Я узнаю косынки кайму,
Голосок с легковейной походкой...
Сосны шепчут про мрак и тюрьму,
Про мерцание звезд за решеткой,

Про бубенчик в жестоком пути,
Про седые бурятские дали...
Мир вам, сосны, вы думы мои,
Как родимая мать, разгадали!

В поминальные дни сентября
Вы сыновнюю тайну узнайте
И о той, что погибла любя,
Небесам и земле передайте.

‹1911›

* * *

В морозной мгле, как око сычье,
Луна-дозорщица глядит;
Какое светлое величье
В природе мертвенной сквозит.

Как будто в поле, мглой объятом,
Для правых подвигов и сил,
Под сребротканым, снежным платом
Прекрасный витязь опочил.

О, кто ты, родина? Старуха?
Иль властноокая жена?
Для песнотворческого духа
Ты полнозвучна и ясна.

Твои черты январь-волшебник
Туманит вьюгой снеговой,
И схимник-бор читает требник,
Как над умершею тобой.

Но ты вовек неуязвима
Для смерти яростных зубов,

Как мать, как женщина, любима
Семьей отверженных сынов.

На их любовь в плену угрюмом,
На воли пламенный недуг
Ты отвечаешь бора шумом,
Мерцаньем звезд да свистом вьюг.

О, изреки: какие боли,
Ярмо какое изнести,
Чтоб в тайники твоих раздолий
Открылись торные пути?

Чтоб, неизбывная доселе,
Родная сгинула тоска
И легкозвоннее метели
Слетала песня с языка?

‹1911›

* * *

Не бойтесь убивающих тело,
Души же не могущих убить!

Еванг⟨елие⟩ от Матф⟨ея⟩, гл. 10, 28

Как вора дерзкого, меня
У града врат не стерегите,
И под кувшинами огня
Соглядатайно не храните.

Едва уснувший небосклон
Забрезжит тайной неразгадной,
Меня князей синедрион
Осудит казни беспощадной.

Обезображенная плоть
Поникнет долу зрелым плодом.
Но жив мой дух, как жив господь,
Как сев пшеничный перед всходом.

Еще бесчувственна земля,
Но проплывают тучи мимо.
И, тонким ладаном куря,
Проходит пажитью Незримый.

Его одежды, чуть шурша,
Неуловимы бренным слухом,
Как одуванчика душа,
В лазури тающая пухом.

‹1911›

ОЖИДАНИЕ

Кто-то стучится в окно:
Буря ли, сучья ль ракит?
В звуках, текущих ровнó, —
Топот поспешных копыт.

Хижина наша мала,
Некуда гостю пройти;
Ночи зловещая мгла
Зверем лежит на пути.

Кто он? Седой пилигрим?
Смерти костлявая тень?
Или с мечом серафим,
Пламеннокрылый, как день?

Никнут ракиты, шурша,
Топот как буря растет...
Встань, пробудися, душа, —
Светлый ездок у ворот!

‹1911›

* * *

Я был прекрасен и крылат
В богоотеческом жилище,
И райских кринов аромат
Мне был усладою и пищей.

Блаженной родины лишен
И человеком ставший ныне,
Люблю я сосен перезвон,
Молитвословящий пустыне.

Лишь одного недостает
Душе в подветренной юдоли, —
Чтоб нив просторы, лоно вод
Не оглашались стоном боли,

Чтоб не стремил на брата брат
Враждою вспыхнувшие взгляды,
И ширь полей, как вертоград,
Цвела для мира и отрады,

И чтоб похитить человек
Венец Создателя не тщился,
За что, отверженный навек,
Я песнокрылия лишился.

‹1911›

ПАХАРЬ

Вы на себя плетете петли
И навостряете мечи.
Ищу вотще: меж вами нет ли
Рассвета алчущих в ночи?

На мне убогая сермяга,
Худая обувь на ногах,
Но сколько радости и блага
Сквозит в поруганных чертах.

В мой хлеб мешаете вы пепел,
Отраву горькую в вино,
Но я, как небо, мудро-светел
И неразгадан, как оно.

Вы обошли моря и сушу,
К созвездьям взвили корабли,
И лишь меня — мирскую душу,
Как жалкий сор, пренебрегли.

Работник родины свободной
На ниве жизни и труда,
Могу ль я вас, как терн негодный,
Не вырвать с корнем навсегда?

‹1911, 1918›

* * *

Есть на свете край обширный,
Где растут сосна да ель,
Неисследный и пустынный, —
Русской скорби колыбель.

В этом крае тьмы и горя
Есть забытая тюрьма,
Как скала на глади моря,
Неподвижна и нема.

За оградою высокой
Из гранитных серых плит
Пташкой пленной, одинокой
В башне девушка сидит.

Злой кручиною объята,
Всё томится, воли ждет,
От рассвета до заката,
День за днем, за годом год.

Но крепки дверей запоры,
Недоступно-страшен свод,
Сказки дикого простора
В каземат не донесет.

Только ветер перепевный
Шепчет ей издалека:
«Не томись, моя царевна,
Радость светлая близка.

За чертой зари туманной,
В ослепительной броне,
Мчится витязь долгожданный
На вспененном скакуне».

‹1911›

* * *

За лебединой белой долей
И по-лебяжьему светла,
От васильковых меж и поля
Ты в город каменный пришла.

Гуляешь ночью до рассвета,
А днем усталая сидишь
И перья смятого берета
Иглой неловкою чинишь.

Такая хрупко-испитая
Рассветным кажешься ты днем,
Непостижимая, святая, —
Небес отмечена перстом.

Наедине, при встрече краткой,
Давая совести отчет,
Тебя вплетаю я украдкой
В видений пестрый хоровод.

Панель... Толпа... И вот картина,
Необычайная чета:
В слезах лобзает Магдалина
Стопы пречистые Христа.

Как ты, раскаяньем объята,
Янтарь рассыпала волос, —
И взором любящего брата
Глядит на грешницу Христос.

‹1911›

БЕГСТВО

Я бежал в простор лугов
Из-под мертвенного свода,
Где зловещий ход часов —
Круг замкнутый без исхода,

Где кадильный аромат
Страстью кровь воспламеняет
И бездонной пастью ад
Души грешников глотает.

Испуская смрад и дым,
Всадник-Смерть гнался за мною,
Вдруг провеяло над ним
Вихрем с серой проливною, —

С высоты дохнул огонь,
Меч, исторгнутый из ножен, —
И отпрянул Смерти конь,
Перед господом ничтожен.

Как росу с попутных трав,
Плоть томленья отряхнула,
И душа, возликовав,
В бесконечность заглянула.

С той поры не наугад
Я иду путем спасенья,
И вослед мне: «Свят, свят, свят», —
Шепчут камни и растенья.

⟨1911⟩

* * *

Я пришел к тебе убогий,
Из отшельничьих пустынь,
От родимого порога
Пилигрима не отринь.

Слышишь, пеною студеной
Море мечет в берега...
Приюти от ночи темной,
Обогрей у очага.

Мой грозою сорван парус
И челнок пучиной взят, —
Отложи на время гарус,
Подыми от прялки взгляд...

Расскажи про край родимый,
Хорошо ль живется в нем,
Всё лежит он недвижимый
Под туманом и дождем?

Как и прежде, мглой повиты,
В брызгах пенистых валов,

Плачут серые граниты
У пустынных берегов?

Если «да» в ответ услышу
Роковое от тебя —
Гробовую буду нишу
Я готовить для себя.

Если ж «нет»... Рокочет злая
Непогода без конца.
Ты молчишь, не подымая
Бездыханного лица.

К заповедному приходу
Роковое допряла
И орлиную свободу
Раньше родины нашла.

⟨1911⟩

* * *

На песню, на сказку рассудок молчит,
Но сердце так странно правдиво, —
И плачет оно, непонятно грустит,
О чем? — знают ветер да ивы.

О том ли, что юность бесследно прошла,
Что поле заплаканно-нище?
Вон серые избы родного села,
Луга, перелески, кладбище.

Вглядись в листопадную странничью даль,
В болот и оврагов пологость,
И сердцу-дитяти утешной едва ль
Почуется правды суровость.

Потянет к загадке, к свирельной мечте,
Вздохнуть, улыбнуться украдкой
Задумчиво-нежной небес высоте
И ивам, лепечущим сладко.

Примнится чертогом — покров шалаша,
Колдуньей лесной — незабудка,
И горько в себе посмеется душа
Над правдой слепого рассудка.

‹1911›

* * *

Весна отсияла... Как сладостно больно,
Душой отрезвяся, любовь схоронить.
Ковыльное поле дремуче-раздольно,
И рдяна заката огнистая нить.

И серые избы с часовней убогой,
Понурые ели, бурьяны и льны
Суровым безвестьем, печалию строгой —
«Навеки», «Прощаю» — как сердце, полны.

О матерь-отчизна, какими тропами
Бездольному сыну укажешь пойти:
Разбойную ль удаль померить с врагами
Иль робкой былинкой кивать при пути?

Былинка поблекнет, и удаль обманет,
Умчится, как буря, надежды губя, —
Пусть ветром нагорным душа моя станет
Пророческой сказкой баюкать тебя.

Баюкать безмолвье и бури лелеять,
В степи непогожей шуметь ковылем,
На спящие села прохладою веять
И в окна стучаться дозорным крылом.

‹1911›

БРАТСКАЯ ПЕСНЯ

Поручил ключи от ада
Нам Вселюбящий стеречь,
Наша крепость и ограда —
Заревой, палящий меч.

Град наш тернием украшен,
Без кумирен и палат,
На твердынях светлых башен
Братья-воины стоят.

Их откинуты забрала,
Адамант — стожарный щит,
И ни ад, ни смерти жало
Духоборцев не страшит.

Кто придет в нетленный город,
Для вражды неуязвим,
Всяк собрат нам, стар и молод,
Земледел и пилигрим.

Ада пламенные своды
Разомкнуть дано лишь нам,
Человеческие роды
Повести к живым рекам.

Наши битвенные гимны
Буреветрами звучат...
Звякнул ключ гостеприимный
У предвечных светлых врат.

1911 или 1912

* * *

О, ризы вечера, багряно-золотые,
Как ярое вино, пьяните вы меня!
Отраднее душе развалины седые
Туманов — вестников рассветного огня.

Горите же мрачней, закатные завесы!
Идет Посланец Сил, чтоб сумрак одолеть;
Пусть в безднах темноты ликуют ночи бесы,
Отгулом вторит им орудий злая медь.

Звончее топоры поют перед рассветом,
От эшафота тень черней — перед зарей...
Одежды вечера пьянят багряным цветом,
А саваны утра покоят белизной.

‹1912›

ЛЕС

Как сладостный орган, десницею небесной
Ты вызван из земли, чтоб бури утишать,
Живым дарить покой, жильцам могилы тесной
Несбыточные сны дыханьем навевать.

Твоих зеленых волн прибой тысячеустный
Под сводами души рождает смутный звон,
Как будто моряку, тоскующий и грустный,
С родимых берегов доносится поклон.

Как будто в зыбях хвой рыдают серафимы,
И тяжки вздохи их и гул скорбящих крыл
О том, что Саваоф броней неуязвимой
От хищности людской тебя не оградил.

‹1912›

* * *

Дремны плески вечернего звона,
Мглистей дали, туманнее бор.
От закатной черты небосклона
Ты не сводишь молитвенный взор..

О туманах, о северном лете,
О пустыне моленья твои,
Обо всех, кто томится на свете
И кто ищет ко Свету пути.

Отлетят лебединые зори,
Мрак и вьюги на землю сойдут,
И на тлеюще-дымном просторе
Безотзывно молитвы замрут.

‹1912›

* * *

Темным зовам не верит душа,
Не летит встречу призракам ночи.
Ты, как осень, ясна, хороша,
Только строже и в ласках короче.

Потянулися с криком в отлет
Журавли над потусклой равниной.
Как с природой, тебя эшафот
Не разлучит с родимой кручиной.

Не однажды под осени плач
О тебе — невозвратно далекой
За разгульным стаканом палач
Головою поникнет жестокой.

‹1912›

* * *

Он придет! Он придет! И содро́гнутся горы
Звездоперстой стопы огневого царя,
Как под ветром осока, преклонятся боры,
Степь расстелет ковры, ароматы куря.

Он воссядет под елью, как море гремучей,
На слепящий престол, в нестерпимых лучах,
Притекут к нему звери пучиной рыкучей
И сойдутся народы с тоскою в очах.

Он затопчет, как сор, вероломства законы,
Духом уст поразит исполинов-бойцов,
Даст державу простым, и презренным короны,
Чтобы царством владели во веки веков.

Мы с тобою, сестра, боязливы и нищи,
Будем в море людском сиротами стоять:
Ты печальна, как ивы родного кладбища,
И на мне не изглажена смерти печать.

Содрогаясь, мы внемлем Судьи приговору:
«Истребися, воскресни, восстань и живи!»

Кто-то шепчет тебе: «К бурь и молний собору
Вы причислены оба — за подвиг любви».

И пойму я, что минуло царство могилы,
Что за гробом припал я к живому ключу...
Воспаришь ты к созвездьям орлом буйнокрылым,
Молоньей просияв, я вослед полечу.

‹1912›

* * *

Я обещаю вам сады...

К. Бальмонт

Вы обещали нам сады
В краю улыбчиво-далеком,
Где снедь — волшебные плоды,
Живым питающие соком.

Вещали вы: «Далеких зла,
Мы вас от горестей укроем,
И прокаженные тела
В ручьях целительных омоем».

На зов пошли: Чума, Увечье,
Убийство, Голод и Разврат,
С лица — вампиры, по наречью —
В глухом ущелье водопад.

За ними следом Страх тлетворный
С дырявой Бедностью пошли, —
И облетел ваш сад узорный,
Ручьи отравой потекли.

За пришлецами напоследок
Идем неведомые Мы, —
Наш аромат смолист и едок,
Мы освежительней зимы.

Вскормили нас ущелий недра,
Вспоил дождями небосклон,
Мы — валуны, седые кедры,
Лесных ключей и сосен звон.

‹1912›

* * *

Я пришел к тебе, сыр-дремучий бор,
Из-за быстрых рек, из-за дальних гор,
Чтоб у ног твоих, витязь-схимнище,
Подышать лесной древней силищей!

Ты прости, отец, сына нищего,
Песню-золото расточившего,
Не кудрявичем под гуслярный звон
В зелен терем твой постучался он!

Богатырь душой, певник розмыслом,
Раздружился я с древним обликом,
Променял парчу на сермяжину,
Кудри-вихори на плешь-лысину.

Поклонюсь тебе, государь, душой —
Укажи тропу в зелен терем свой!
Там, двенадцать в ряд, братовья сидят —
Самоцветней зорь боевой наряд...

Расскажу я им, баснослов-баян,
Что в родных степях поредел туман,

Что сокрылися гады, филины,
Супротивники пересилены,

Что крещеный люд на завалинах
Словно вешний цвет на прогалинах...
Ах, не в руку сон! Седовласый бор
Чуда-терема сторожит затвор:
На седых щеках слезовая смоль,
Меж бровей-трущоб вещей думы боль.

‹1912›

* * *

Прохожу ночной деревней,
В темных избах нет огня,
Явью сказочною, древней
Потянуло на меня.

В настоящем разуверясь,
Стародавних полон сил,
Распахнул я лихо ферязь,
Шапку-соболь заломил.

Свистнул, хлопнул у дороги
В удалецкую ладонь,
И, как вихорь, звонконогий
Подо мною взвился конь.

Прискакал. Дубровным зверем
Конь храпит, копытом бьет, —
Предо мной узорный терем,
Нет дозора у ворот.

Привязал гнедого к тыну;
Будет лихо али прок,

Пояс шелковый закину
На точеный шеломок.

Скрипнет крашеная ставня...
«Что, разлапушка, — не спишь?
Неспроста повесу-парня
Знают Кама и Иртыш!

Наши хаживали струги
До Хвалынщины подчас, —
Не иссякнут у подруги
Бирюза и канифас...»

Прояснилися избенки,
Речка в утреннем дыму.
Гусли-морок, всхлипнув звонко,
Искрой канули во тьму.

Но в душе, как хмель, струится
Вещих звуков серебро —
Отлетевшей жаро-птицы
Самоцветное перо.

‹1912›

* * *

Я молился бы лику заката,
Темной роще, туману, ручьям,
Да тяжелая дверь каземата
Не пускает к родимым полям —

Наглядеться на бора опушку,
Листопадом, смолой подышать,
Постучаться в лесную избушку,
Где за пряжею старится мать...

Не она ли за пряслом решетки
Ветровою свирелью поет...
Вечер нижет янтарные четки,
Красит золотом треснувший свод.

‹1912›

* * *

По тропе-дороженьке
Могота ль брести?..
Ой вы, руки-ноженьки,
Страдные пути!

В старину по кладочкам
Тачку я катал,
На привале давеча
Вспомнил — зарыдал.

На заводском промысле
Жизнь не дорога...
Ой вы, думы-розмысли,
Тучи да снега!

‹1912›

* * *

В просинь вод загляделися ивы,
Словно в зеркальце девка-краса.
Убегают дороги извивы,
Перелесков, лесов пояса.

На деревне грачиные граи,
Бродит сонь, волокнится дымок;
У плотины, где мшистые сваи,
Нижет скатную зернь солнопёк —

Водянице стожарную кику:
Самоцвет, зарянец, камень-зель.
Стародавнему верен навы́ку,
Прихожу на поречную мель.

Кличу девушку с русой косою,
С зыбким голосом, с вишеньем щек.
Ивы шепчут: «Сегодня с красою
Поменялся кольцом солнопёк,

Подарил ее зарною кикой,
Заголубил в речном терему...»
С рощи тянет смолой, земляникой,
Даль и воды в лазурном дыму.

(1912)

* * *

Западите-ка, девичьи тропины,
Замуравьтесь травою-лебедой, —
Молоденьке зеленой не топтати
Макасатовым красным сапожком.

Приубавила гульбища-воленья
От зазнобушки грамотка-письмо;
Я по зорьке скорописчату читала,
До полуночи в думушку брала.

Пишет девушке смертное прощенье
С Ерусланова, милый, городка, —
На поминку шлет скатное колечко,
На кручинушку бел-гербовый лист.

Я ложила колечко в изголовье, —
Золотое покою не дает.
С ранней пташкою девка пробудилась,
Распрощалася с матерью, отцом.

Обряжалася черною монашкой,
Расставалась с пригожеством-красой. . .
Замуравьтеся, девичьи тропины,
Смольным ельником, частою лозой.

‹1912›

СВАДЕБНАЯ

Ты, судинушка — чужая сторона,
Что свекровьими попреками красна,

Стань-ка городом, дорогой столбовой,
Краснорядною торговой слободой!

Было б друженьке где волю волевать,
В сарафане-разгуляне щеголять,

Краснорядцев с ума-разума сводить,
Развеселой слобожанкою прослыть,

Перемочь невыносимую тоску —
Подариться нелюбиму муженьку!

Муж повышпилит булавочки с косы,
Не помилует девической красы,

Сгонит с облика белила и сурьму,
Не обрядит в расписную бахрому.

Станет друженька преклонливей травы,
Не услышит человеческой молвы,

Только благовест учует поутру,
Перехожую волынку ввечеру.

‹1912›

ПОСАДСКАЯ

Не шуми, трава шелко́ва,
Бел призорник, зарецвет,
Вышиваю для милова
Левантиновый кисет.

Я по алу левантину
Расписной разброшу стёг,
Вышью Гору Соколину,
Белокаменный острог.

Неба ясные упеки
Наведу на уголки,
Бирюзой занижу реки,
С Беломорьем — Соловки.

Оторочку на кисете
Литерами обовью:
«Люди» с титлою, «Мыслете»,
Объявилося: «Люблю».

Ах, недаром на посаде
Грамотеей я слыву...

Зелен ветер в палисаде
Всколыхнул призор-траву.

Не клонись, вещунья-травка,
Без тебя вдомек уму:
Я — посадская чернавка,
Мил жирует в терему.

У милого — кунья шуба,
Гоголиной масти конь,
У меня — сахарны губы,
Косы чалые в ладонь.

Не окупит мил любови
Четвертиной серебра...
Заревейте на обнове,
Расписные литера!

Дорог камень бирюзовый,
В стег мудреный заплетись,
Ты, муравонька шелкова,
Самобранкой расстелись.

Не завихрился бы в поле
Подкопытный прах столбом,
Как проскачет конь гоголий
С зарнооким седоком.

‹1912›

* * *

Недозрелую калинушку
Не ломают и не рвут, —
Недорощена детинушку
Во солдаты не берут.

Придорожну скатну ягоду
Топчут конник, пешеход, —
По двадцатой красной осени
Парня гонят во поход.

Раскудрявьтесь, кудри-вихори,
Брови — черные стрижи,
Ты, размыкушка-гармоника,
Про судину расскажи:

Во незнаемой сторонушке
Красовита ли гульба?
По страде свежит ли прохододь,
В стужу греет ли изба?

Есть ли улица расхожая,
Девка-зорька, маков цвет,

Али ночка непогожая
Ко сударке застит след?

Ах, размыкушке-гармонике
Поиграть не долог срок!..
Придорожную калинушку
Топчут пеший и ездок.

‹1912›

* * *

Без посохов, без злата
Мы двинулися в путь;
Пустыня мглой объята, —
Нам негде отдохнуть.

Здесь воины погибли:
Лежат булат, щиты...
Пред нами вечных библий
Развернуты листы.

В божественные строки,
Дрожа, вникаем мы,
Слагаем, одиноки,
Орлиные псалмы.

О, кто поймет, услышит
Псалмов высокий лад?
А где-то росно дышит
Черемуховый сад.

За створчатою рамой
Малиновый платок, —

Туда ведет нас прямо
Тысячелетний рок.

Пахнуло смольным медом
С березовых лядин...
Из нас с Садко-народом
Не сгинет ни один.

У Садко — самогуды,
Стозвонная молва;
У нас — стихи-причуды,
Заморские слова.

У Садко — цвет-призорник,
Жар-птица, синь-туман;
У нас — плакун-терновник
И кровь гвоздиных ран.

Пустыня на утрате,
Пора исчислить путь,
У Садко в красной хате
От странствий отдохнуть.

‹1912›

* * *

Набух, оттаял лед на речке,
Стал пегим, ржаво-золотым,
В кустах затеплилися свечки,
И засинел кадильный дым.

Березки — бледные белички,
Потупясь, выстроились в ряд.
Я голоску веснянки-птички,
Как материнской ласке, рад.

Природы радостный причастник,
На облака молюся я,
На мне иноческий подрясник
И монастырская скуфья.

Обету строгому неверен,
Ушел я в поле к лознякам,
Чтоб поглядеть, как мир безмерен,
Как луч скользит по облакам,

Как пробудившиеся речки
Бурлят на талых валунах,
И невидимка теплит свечки
В нагих, дымящихся кустах.

‹1912›

СТАРУХА

Сын обижает, невестка не слухает,
Хлебным куском да бездельем корит;
Чую — на кладбище колокол ухает,
Ладаном тянет от вешних ракит.

Вышла я в поле, седая, горбатая, —
Нива без прясла, кругом сирота...
Свесила верба сережки мохнатые,
Меда душистей, белее холста.

Верба-невеста, молодка пригожая,
Зеленью-платом не засти зари!
Аль с алоцветной красою не схожа я —
Косы желтее, чем бус янтари.

Ал сарафан с расписной оторочкою,
Белый рукав и плясун-башмачок...
Хворым младенчиком, всхлипнув над кочкою,
Звон оголосил пролесок и лог.

Схожа я с мшистой, заплаканной ивою,
Мне ли крутиться в янтарь-бахрому...
Зой-невидимка узывней, дремливее,
Белые вербы в кадильном дыму.

‹1912›

КРАСНАЯ ГОРКА

Как у нашего двора
Есть укатана гора,

Ах, укатана, увалена,
Водою полита.

Принаскучило младой
Шить серебряной иглой, —

Я со лавочки встала́,
Серой уткой поплыла,

По за сенцам — лебедком.
Под крылечико — бегом.

Ах, не ведала млада,
Что гора — моя беда,

Что козловый башмачок
По раскату — не ходок!

Я и этак, я и так, —
Упирается башмак.

На ту пору паренек
Подал девушке платок.

Я бахромчат плат брала,
Парню славу воздала:

«Ты откуль изволишь быть,
Чем тебя благодарить:

Золотою ли казной
Али пьяною гостьбой?»

Раскудрявич мне в ответ:
«Я по волости сосед;

Приурочил для тебя
Плат и вихоря-коня,

Сани лаковые,
Губы маковые».

‹1912›

* * *

Певучей думой обуян,
Дремлю под жесткою дерюгой.
Я — королевич Еруслан
В пути за пленницей-подругой.

Мой конь под алым чепраком,
На мне серебряные латы...
А мать жужжит веретеном
В луче осеннего заката.

Смежают сумерки глаза,
На лихо жалуется прялка...
Дымится омут, спит лоза,
В осоке девушка-русалка.

Она поет, манит на дно
От неги ярого избытка...
Замри, судьбы веретено,
Порвись, тоскующая нитка!

‹1912›

ПЛЯСЕЯ

Д е в к а - з а п е в а л о:

Я вечор, млада, во пиру была,
Хмелен мед пила, сахар кушала,
Во хмелю, млада, похвалялася
Не житьем-бытьем — красной удалью.

Не сосна в бору дрожмя дрогнула,
Топором-пилой насмерть ранена,
Не из невода рыба шалая,
Извиваючись, в омут просится, —

Это я пошла в пляску походом:
Гости-бражники рты разинули,
Домовой завыл — крякнул под полом,
На запечье кот искры выбрызнул:

Вот я —
Плясея —
Вихорь, прах летучий,
Сарафан —
Синь-туман,
Косы — бор дремучий!

Пляс — гром,
Бурелом,
Лешева погудка,
Под косой —
Луговой
Цветик незабудка!

Парень-припевало:

Ой, пляска приворотная,
Любовь — краса залетная,
Чем вчуже вами маяться,
На плахе белолиповой
Срубить бы легче голову!

Не уголь жжет мне пазуху,
Не воск — утроба топится
О камень — тело жаркое,
На пляс — красу орлиную
Разбойный ножик точится!

‹1912›

* * *

Осенюсь могильною иконкой,
Накормлю малиновок кутьей
И с клюкой, с дорожною котомкой,
Закачусь в туман вечеровой.

На распутьях дальнего скитанья,
Как пчела медвяную росу,
Соберу певучие сказанья
И тебе, родимый, принесу.

В глубине народной незабытым
Ты живешь, кровавый и святой...
Опаленным, сгибнувшим, убитым,
Всем покой за дверью гробовой.

‹1912›

* * *

Сготовить деду круп, помочь развесить сети,
Лучину засветить и, слушая пургу,
Как в сказке, задремать на тридевять столетий,
В Садко оборотясь иль в вещего Вольгу.

«Гей, други! Не в бою, а в гуслях нам удача, —
Соловке-игруну претит вороний грай...»
С полатей смотрит Жуть, гудит, как било, Лаче,
И деду под кошмой приснился красный рай.

Там горы-куличи и сыченые реки,
У чаек и гагар по мисе яицо...
Лучина точит смоль, смежив печурки-веки,
Теплынью дышит печь — ночной избы лицо.

Но уж рыжеет даль, пурговою метлищей
Рассвет сметает темь, как из сусека сор,
И слышно, как сова, спеша засесть в дуплище,
Гогочет и шипит на солнечный костер.

Почуя скитный звон, встает с лежанки бабка,
Над ней пятно зари, как венчик у святых,
А Лаче ткет валы размашисто и хлябко,
Теряяся во мхах и в далях ветровых.

1912 или 1913(?)

* * *

Запечных потемок чурается день,
Они сторожат наговорный кистень, —
Зарыл его прадед-повольник в углу,
Приставя дозором монашенку-мглу.

И теплится сказка. Избе лет за двести,
А всё не дождется от витязя вести.
Монашка прядет паутины кудель,
Смежает зеницы небесная бель.

Изба засыпает. С узорной божницы
Взирают Микола и сестры Седмицы,
На матице ожила карлиц гурьба,
Топтыгин с козой — избяная резьба.

Глядь, в горенке стол самобранкой накрыт,
На лавке разбойника дочка сидит,
На ней пятишовка, из гривен блесня,
Сама же понурей осеннего дня.

Ткачиха-метель напевает в окно:
«На саван повольнику ткися, рядно,
Лежит он в логу, окровавлен чекмень,
Не выведал ворог про чудо-кистень!»

Колотится сердце... Лесная изба
Глядится в столетья, темна, как судьба,
И пестун былин, разоспавшийся дед,
Спросонок бормочет про тутошний свет.

1912 или 1913(?)

* * *

Тучи, как кони в ночном,
Месяц — грудок пастушонка.
Вся поросла ковылем
Божья святая сторонка.

Только и русла, что шлях —
Узкая, млечная стежка.
Любо тебе во лесях,
В скрытной избе, у окошка.

Светит небесный грудок
Нашей пустынной любови.
Гоже ли девке платок
Супить по самые брови?

По́ сердцу ль парню в кудрях
Никнуть плакучей ракитой?
Плыть бы на звонких плотах
Вниз по Двине ледовитой.

Чуять, как сказочник-руль
Будит поддонные были.

Много б Устеш и Акуль
Кудри мои полонили.

Только не сбыться тому, —
Берег кувшинке несносен...
Глянь-ка, заря бахрому
Весит на звонницы сосен.

Прячется карлица-мгла
То за ивняк, то за кочку.
Тысяча лет протекла
В эту пустынную ночку.

1912 или 1913(?)

ДОСЮЛЬНАЯ

Не по зелену бархату,
Не по рытому, черевчату
Золото кольцо катается,
Красным жаром распаляется, —
По брусяной новой горнице,
По накатной половичине
Разудалый ходит по́ходом,
Голосит слова ретивые:

«Ах, брусяные хоромы,
В вас кому ли жировати,
Красоватися кому?
Угодити мне из горниц,
С белоструганых половиц
В поруб — лютую тюрьму!

Ах вы, сукна-заволоки,
Вами сосны ли крутити,
Обряжать пути-мосты?
Побраталися с детиной
Лыки с белою рядниной —
Поминальные холсты!

Ах ты, сад зелено-темный,
Не заманивай соловкой,
Духом-брагой не пои:
У тебя есть гость захожий,
Под лозой лежит пригожий
С метким ножиком в груди!..»

Ой, не в колокол ударили,
Не валун с нагорья ринули,
Подломив ковыль с душицею,
На отшибе ранив осокорь, —
Повели удала волостью,
За острожный тын, как ворога,
До него зенитной птахою
Долетает причит девичий:

«Ой, не полымя в бору
Полыхает ало —
Голошу, утробой мру
По тебе, удалый.

У перильчата крыльца
Яровая мята
Залучила жеребца
Друга-супостата.

Скакуну в сыром лугу
Мята с зверобоем,
Супротивнику-врагу
Ножик в ретивое.

Свянет мятная трава,
Цвет на бересклете...
Не молодка, не вдова —
Я одна на свете.

Заторится стежка-вьюн
До девичьей хаты,
И не вытопчет скакун
У крылечка мяты».

‹1913›

* * *

Как по реченьке-реке
В острогрудом челноке,

Где падун-водоворот,
Удалой рыбак плывет.

У него приманно рус,
Закудрявлен лихо ус,

Парус — облако, весло —
Лебединое крыло.

Подмережник — жемчуга,
Во мереже два сига,

Из сиговины один —
Рыбаку заочный сын.

В прибережной осоке,
В лютой немочи-тоске

Заломила руки мать.
Широка речная гладь;

Желтой мели полоса —
Словно девичья коса,

Заревые янтари —
Жар-монисто на груди.

С рыболовом, крутобок.
Бороздит янтарь челнок.

Глуби ропщут: так иль сяк —
Будешь ты на дне, рыбак.

‹1913›

* * *

Дымно и тесно в избе,
Сумерки застят оконце.
Верь, не напрасно тебе
Грезятся небо и солнце.

Пряжи слезой не мочи,
С зимкой иссякнет куделя...
Кот, задремав на печи,
Скажет нам сказку про Леля.

«На море остров Буян,
Терем Похитчика-Змея...»
В поле редеет туман,
Бор зашептался, синея.

«Едет ко терему Лель,
Меч-кладенец наготове...»
Стукнул в оконце апрель —
Вестник победной любови.

‹1913›

* * *

Косогоры, низины, болота,
Над болотами ржавая марь.
Осыпается рощ позолота,
В бледном воздухе ладана гарь.

На прогалине теплятся свечи,
Озаряя узорчатый гроб,
Бездыханные девичьи плечи
И молитвенный, с венчиком, лоб.

Осень — с бледным челом инокиня —
Над покойницей правит обряд.
Даль мутна, речка призрачно синя.
В роще дятлы зловеще стучат.

‹1913›

* * *

Чу! Перекатный стук на гумнах,
Он по заре звучит как рог.
От бед, от козней полоумных
Мой вещий дух не изнемог.

Я всё такой же, как в столетьях,
Широкогрудый удалец...
Знать, к солнцепеку на поветях
Рудеет утренний багрец.

От гумен тянет росным медом,
Дробь молотьбы — могучий рог.
Нас подарил обильным годом
Сребробородый, древний бэг.

‹1913›

* * *

Снова поверилось в дали свободные,
В жизнь как в лазурный, безгорестный
путь, —
Помнишь ракиты седые, надводные,
Вздохи туманов, безмолвия жуть?

Ты повторяла: «Туман — настоящее,
Холоден, хмур и зловеще глубок.
Сердцу пророчит забвенье целящее
В зелени ив пожелтевший листок».

Явью безбольною стало пророчество:
Просинь небес, и снега за окном.
В хижине тихо. Покой, одиночество
Веют нагорным, свежительным сном.

‹1913›

* * *

Мне сказали, что ты умерла
Заодно с золотым листопадом
И теперь, лучезарно светла,
Правишь горним, неведомым градом.

Я нездешним забыться готов,
Ты всегда баснословной казалась
И багрянцем осенних листов
Не однажды со мной любовалась.

Говорят, что не стало тебя,
Но любви иссякаемы ль струи:
Разве зори — не ласка твоя,
И лучи — не твои поцелуи?

⟨1913⟩

ПОВОЛЖСКИЙ СКАЗ

Собиралися в ночнину,
Становились в тесный круг.
«Кто старшой, кому по чину
Повести за стругом струг?

Есть Иванко Шестипалый,
Васька Красный, Кудеяр,
Зауголыш, Рямза, Чалый
И Размыкушка-гусляр.

Стать негоже Кудеяру,
Рямзе с Васькой-яруном!»
Порешили: быть гусляру
Струговодом-большаком!

Он доселе тешил братов,
Не застаивал ветрил,
Сызрань, Астрахань, Саратов
В небо полымем пустил.

В епанчу, поверх кольчуги,
Оболок Размыка стан

И повел лихие струги
На слободку — Еруслан.

Плыли долго аль коротко,
Обогнули Жигули,
Еруслановой слободки
Не видали — не нашли.

Закручинились орлята:
Наважденье чем избыть?
Отступною данью-платой
Волге гусли подарить...

Воротилися в станища,
Что ни струг, то сирота,
Буруны разъели днища,
Червоточина — борта.

Объявилась горечь в браге.
Привелось, хоть тяжело,
Понести лихой ватаге
Черносошное тягло.

И доселе по Поволжью
Живы слухи: в ледоход
Самогуды звучной дрожью
Оглашают глуби вод.

Кто проведает — учует
Половодный, вещий сказ,
Тот навеки зажалкует,
Не сведет с пучины глаз.

Для того туман поречий,
Стружный парус, гул валов —
Перекатный рокот сечи,
Удалой повольный зов.

Дрожь осоки — шепот жаркий,
Огневая вспышка струй —
Зарноокой полонянки
Приворотный поцелуй.

‹1913›

ПЕСНЯ ПОД ВОЛЫНКУ

Как родители-разлучники
Да женитьба подневольная
Довели удала молодца
До большой тоски-раздумьица!

Допрежь сердце соколиное
Черной немочи не ведало, —
Я на гульбищах погуливал,
Шапки старосте не ламывал.

А теперича я — мо́лодец,
Словно птаха-коноплянница,
Что, по зорьке лёт направивши,
Птицелову в сеть сгодилася.

Как лихие путы пташицу,
Так станливого молодчика
Завязала и запутала
Молода жена-приданница.

‹1913›

* * *

Правда ль, други, что на свете
Есть чудесная страна,
Где ни бури и ни сети
Не мутят речного дна;
Где не жнется супостатом
Всколосившаяся новь
И сумой да казематом
Не карается любовь,
Мать не плачется о сыне,
Что безвременно погиб
И в седой морской пучине
Стал добычей хищных рыб;
Где безбурные закаты
Не мрачат сиянья дня,
Благосенны кущи-хаты
И приветны без огня.
Поразмыслите-ка, други,
Отчего ж в краю у нас
Застят та́ежные вьюги
Зори красные от глаз?
От невзгод черны избушки,
В поле падаль и навоз
Да вихрастые макушки
Никлых, стонущих берез?

Да маячат зубья борон,
Лебеду суля за труд,
Облака, как черный ворон,
Темь ненастную несут?

‹1913›

* * *

На припеке цветик алый
Обезлиствел и поблек —
Свет-детина разудалый
От зазнобушки далек.

Он взвился бы буйной птицей —
Цепи-вороги крепки,
Из темницы до светлицы
Перевалы велики.

Призапала к милой стежка,
Буреломом залегла.
За окованным окошком —
Колокольная игла.

Всё дозоры да запоры,
Каземат — глухой капкан...
Где вы, косы — темны боры,
Заряница — сарафан?

В белоструганой светелке
Кто призарился на вас,

На фату хрущата шелка,
На узорный канифас?

Заручился кто от любы
Скатным клятвенным кольцом:
Волос — зарь, малина — губы,
В цвет черемухи лицом?..

Захолонула утроба,
Кровь, как цепи, тяжела...
Помяни, душа-зазноба,
Друга — сизого орла!

Без ножа ему неволя
Кольца срезала кудрей,
Чтоб раздольней стало поле,
Песня-вихорь удалей.

Чтоб напева ветровова
Не забыл крещеный край...
Не шуми ты, мать-дуброва,
Думу думать не мешай!

‹1913›

ОСИНУШКА

Ах, кому судьбинушка
Ворожит беду:
Горькая осинушка
Ронит лист-руду.

Полымем разубрана,
Вся красным-красна,
Может быть, подрублена
Топором она.

Может, червоточина
Гложет сердце ей,
Черная проточина
Въелась меж корней.

Облака по просини
Крутятся в кольцо.
От судины-осени
Вянет деревцо.

Ой, заря-осинушка,
Златоцветный лёт,

У тебя детинушка
Разума займет!

Чтобы сны стожарные
В явь оборотить,
Думы — листья зарные
Пó ветру пустить.

⟨1913⟩

БАБЬЯ ПЕСНЯ

Страховито деревинке под грозой стояти,
Листопадные волосья по ветру трепати,
Таково ли молоденьке за неладным мужем,
Как за вороном касатке, годы коротати.

Надоумилося птахе перышки оправить —
Молодешеньке у мужа спеси приубавить.
Я рядилася в уборы — в дорогую кику,
Еще в алу косоплетку — по любезну память.

Улещала муженечка в рощу погуляти,
На заманку посулила князем величати.
Улучала молоденька времени маленько —
Привязала лиходея ко дремучей ели.

Я гуляла-пировала круглую неделю
С кудреватым, вороватым, с головой разбойной.
По разлуке, по гостибью разума хватилась,
Заставала душу в теле — муженька у ели:

«Еще станешь ли, негодный, любу веселити?»
— «Ой, сударыня-жена, буду забавляти!»

— «Еще станешь ли, негодный, на гульбу возити?»
— «Ой, боярыня-жена, буду на пеганке!»

«Ах, пегана у цыгана, сани на базаре,
Крутобокое седельце у дружка в промене,
Погонялочка с уздицей — в кабаке на спице».

‹1913›

* * *

Оскал февральского окна
Глотает залпы, космы дыма...
В углу убитая жена
Лежит строга и недвижима.

Толпятся тени у стены,
Зловеще отблески маячат...
В полях неведомой страны
Наездник с пленницею скачет.

Хватают косы ковыли,
Как стебли свесилися руки,
А конь летит в огне, в пыли,
И за погоню нет поруки.

Прости, прости! В ковыль и мглу
Тебя умчал ездок крылатый...
Как воры, шепчутся в углу
Кирка с могильною лопатой.

‹1913, 1918›

* * *

Ноченька темная, жизнь подневольная...
В поле безлюдье, бесследье да жуть.
Мается душенька... Тропка окольная,
Выведи парня на хоженый путь!

Прыснул в глаза огонечек малешенек,
Темень дохнула далеким дымком.
Стар ли огневщик, младым ли младешенек,
С жаркою бровью, с лебяжьим плечом, —

Что до того? Отогреть бы ретивое,
Ворога тезкою, братом назвать...
Лютое поле, осочье шумливое
Полнятся вестью, что умерла мать,

Что не ворохнутся старые ноженьки,
Старые песни, как травы, мертвы...
Ночь — домовище, не видно дороженьки,
Негде склонить сироте головы.

‹1913›

* * *

Я дома. Хмарой-тишиной
Меня встречают близь и дали.
Тепла лежанка, за стеной
Старухи ели задремали.

Их не добудится пурга,
Ни зверь, ни окрик человечий...
Чу! С домовихой кочерга
Зашепелявили у печи.

Какая жуть. Мошник-петух
На жердке мреет, как куделя,
И отряхает зимний пух —
Предвестье буйного апреля.

⟨1913⟩

* * *

Черны проталины, навозом,
Капустной прелью тянет с гряд,
Ушли метелица с морозом,
Оставив марту снежный плат.

И за неделю март-портняжка
Из плата выкроил зипун,
Наделал дыр, где пол запашка,
На воротник нашил галун.

Кому достанется обнова?..
Трухлявы кочки, в поле сырь,
И на заре, в глуши еловой,
Как ангелок, поет снегирь.

Капели реже, тропки суше,
Ручьи скатилися в долок...
Глядь, на припеке лен кукуший
Вздувает сизый огонек.

‹1913›

* * *

Осинник гулче, ельник глуше,
Снега туманней и скудней,
В пару берлог разъели уши
У медвежат ватаги вшей.

У сосен сторожки вершины,
Пахуч и бур стволов янтарь,
На разопрелые низины
Летит с мошнухою глухарь.

Бреду зареющей опушкой, —
На сучьях пляшет солнопёк...
Вон над прижухлою избушкой
Виляет беличий дымок.

Там коротают час досужий
За думой дед, за пряжей мать...
Бурлят ключи, в лесные лужи
Глядится пней и кочек рать.

‹1913›

* * *

Теплятся звезды-лучинки,
В воздухе марь и теплынь, —
Веселы будут отжинки,
В скирдах духмяна полынь.

Спят за омежками риги,
Роща — пристанище мглы,
Будут пахучи ковриги,
Зимние избы теплы.

Минет пора обмолота,
Пуща развихрит листы, —
Будет добычна охота,
Лоски на слищах холсты.

Месяц засветит лучинкой,
Скрипнет под лаптем снежок...
Колобы будут с начинкой,
Парень матёр и высок.

‹1913›

* * *

От дремы, от теми-вина
Накренились деды-овины.
Садится за прясло луна,
Как глаз помутнело-совиный.

На просини елей кресты,
Узорно литье и чеканка. . .
Пробрезжило. Будит кусты
Заливчатым криком зарянка.

Загукала в роще желна,
Витлюк потянул на болото,
В избе заслюдела стена,
Как риза, рябой позолотой.

Встречая дремучий рассвет,
В углу, как святой безымянный,
По лестовке молится дед,
Белесым лучом осиянный.

‹1913›

* * *

Радость видеть первый стог,
Первый сноп с родной полоски,
Есть отжиночный пирог
На меже, в тени березки,

Знать, что небо ввечеру
Над избой затеплит свечки,
Лики ангелов в бору
Отразят лесные речки.

Счастье первое дитя
Усыплять в скрипучей зыбке,
Темной памятью летя
В край, где песни и улыбки.

Уповать, что мир потерь
Канет в сумерки безвестья,
Что, как путник, стукнет в дверь
Ангел с ветвью благовестья.

‹1913›

* * *

Ах вы цветики, цветы лазоревы,
Алоцветней вы красной зорюшки,
Скоротечней вы быстрой реченьки!
Как на вас, цветы, лют мороз падет,
На муравушку белый утренник, —
Сгубит зябель цвет, корень выстудит!

Ах ты дитятко, свет Миколушка,
Как дубравный дуб — ты матер-станлив,
Поглядеть кому — сердцу завистно,
Да осилит дуб душегуб-топор,
Моготу твою — штоф зеленого!

На горе стоит елочка,
Под кудрявою — светелочка,
Во светелке красны девушки сидят,
На кажинной брилянтиновый наряд,
На единой дочке вдовиной —
Посконь с серою мешковиной.

Наезжали ко светлице соколья —
Всё гостиные, купецки сыновья,

Выбирали себе женок по уму,
Увозили распригожих в Кострому,
Оставляли по залавочкам труху —
Вдовью дочерь Миколашке-питуху.

‹1914›

* * *

Я люблю цыганские кочевья,
Свист костра и ржанье жеребят,
Под луной как призраки деревья
И ночной железный листопад.

Я люблю кладбищенской сторожки
Нежилой, пугающий уют,
Дальний звон и с крестиками ложки,
В чьей резьбе заклятия живут.

Зорькой тишь, гармонику в потемки,
Дым овина, в росах коноплю...
Подивятся дальние потомки
Моему безбрежному «люблю».

Что до них? Улыбчивые очи
Ловят сказки теми и лучей...
Я люблю остожья, грай сорочий,
Близь и дали, рощу и ручей.

‹1914›

* * *

Пашни буры, межи зелены,
Спит за елями закат,
Камней мшистые расщелины
Влагу вешнюю таят.

Хороша лесная родина:
Глушь да поймища кругом!..
Прослезилася смородина,
Травный слушая псалом.

И не чую больше тела я,
Сердце — всхожее зерно...
Прилетайте, птицы белые,
Клюйте ярое пшено!

Льются сумерки прозрачные,
Кроют дали, изб коньки,
И березки — свечи брачные
Теплят листьев огоньки.

‹1914›

* * *

Сегодня в лесу именины,
На просеке пряничный дух,
В багряных шугаях осины
Умильней причастниц-старух.

Пышней кулича муравейник,
А пень — как с наливкой бутыль.
В чаще именинник-затейник
Стоит, опершись на костыль.

Он в синем, как тучка, кафтанце,
Бородка — очесок клочок;
О лете — сынке-голодранце
Тоскует лесной старичок.

Потрафить приятельским вкусам
Он ключницу-осень зовет...
Прикутано старой бурнусом,
Спит лето в затишье болот.

Пусть осень густой варенухой
Обносит трущобных гостей —
Ленивец, хоть филин заухай,
Не сгонит дремоты с очей!

‹1914›

* * *

Изба-богатырица,
Кокошник вырезной,
Оконце, как глазница,
Подведено сурьмой.

Кругом земля-землища
Лежит, пьяна дождем,
И бора-старичища
Подоблачный шелом.

Из-под шелома строго
Грозится туча-бровь...
К заветному порогу
Я припадаю вновь.

Седых веков наследство,
Поклон вам, труд и пот!
Чу, песню малолетства
Родимая поет:

«Спородила я сынка-богатыря
Под потокою на сиверке,
На холодном полузимнике,

Чтобы дитятко по матери пошло,
Не удушливато в летнее тепло,
Под морозами не зябкое,
На воде-луде не хлябкое!

Уж я вырастила сокола-сынка
За печным столбом на выводе,
Чтоб не выглядел Старик журавик,
Не ударил бы черемушкой,
Не сдружил бы с горькой долюшкой!»

‹1914›

* * *

Просинь — море, туча — кит,
А туман — лодейный парус.
За окнищем моросит
Не то сырь, не то стеклярус.

Двор — совиное крыло,
Весь в глазастом узорочье.
Судомойня — не село,
Брань — не щекоты сорочьи.

В городище, как во сне,
Люди — тля, а избы — горы.
Примерещилися мне
Беломорские просторы.

Гомон чаек, плеск весла,
Вольный промысел ловецкий:
На потух заря пошла,
Чуден остров Соловецкий.

Водяник прядет кудель,
Что волна, то пасмо пряжи...

На извозчичью артель
Я готовлю харч говяжий.

Повернет небесный кит
Хвост к теплу и водополью...
Я, как невод, что лежит
На мели, изъеден солью.

Не придет за ним помор —
Пододонный полонянник...
Правят сумерки дозор,
Как ночлег бездомный странник.

‹1914›

* * *

Разохалась старуха
Про молодость, про ад.
В зените горы пуха
Пролиться норовят.

Нет моченьки на кроснах
Ткать белое рядно.
Расплакалося в соснах
Пурги веретено.

Любовь, как нитку в бёрде,
Упустишь — не найдешь.
Запомнилося твердо,
Что был матер, пригож.

Под та́ежным медведем
Погиб лихой лесник. . .
Плакучих дум соседям
Не вымолвил язык.

Всё выплакано кроснам —
Лощеному рядну.

Не век плясать по соснам
Пурги веретену.

Изба — гнездо тетерье,
Где жизнь, как холст, доткать.
А тучи ронят перья
В лесную темь и гать.

⟨1914⟩

* * *

Я сгорела, молодéнька, без огня,
Без присухи сердце высушила,
Уж как мой-то муж недобрый до меня,
Не купил мне-ка атласного платка,
А купил, злодей, коровушку —
Непорядную работушку!..

Лучше пуд бы мне масла купил,
Подрукавной муки бы мешок, —
Я бы повязь с епанечкой продала,
На те деньги бы стряпейку наняла,
Стряпея бы мне постряпывала,
Я б, младешенька, похаживала,
Каблучками приколачивала:

Ах вы, красные скрипучи каблучки,
Мне-ка не с кем этой ноченькой легчи —
Нету деда, родной матери с отцом,
Буду ночку коротати с муженьком!
Муженечек на перинушке лежит,
А меня младу на лавочку валит,
Изголовьицем ременну плеть кладет,
Потничком велит окутаться:

«Уж ты спи, моя лебедушка, усни,
Ко полуночи квашонку раствори,
К петухам парную баню истопи,
К утру-свету лен повыпряди,
Ко полудню вытки белые холсты,
К сутеменкам муженьку сготовь порты,
У портищ чтоб были строчены рубцы,
Гасник шелковый с кисточкою,
Еще пугвица волжоная. . .»
Молода жена — ученая.

(1914)

* * *

Я ко любушке-голубушке ходил,
Голубую однорядку износил,
Шубу беличью повыволочил,
Коробейку мелких денег издержал,
Разлюбезной воркованьем докучал:
Я куплю тебе гостинец — скатну нить,
Буду баско оболоченной водить.
Разлюби ты дегтегона-лесника,
Лаптевяза да Мирона-резчика,
Не подмигивай торговому в ряду,
Не обранивай платочка на ходу,
Протопопу белой ручкой не маши,
Не заглядывай в рыбачьи шалаши,
У калачника не мешкай в курену,
Не давай овса гонецкому коню,
На гонца крутую бровь не наводи,
Чтобы сердце не кровавилось в груди!
У гонца не застоялая душа, —
В торбе ложка и походная лапша.
Он тебя за белояровый овес

Доведет до неуемных горьких слез,
Что ль до зыбки — непотребного лубка,
До отцовского глухого кулака,
Будет зыбочка поскрипывать,
Красна девушка повздыхивать!

‹1914›

* * *

Ах, подруженьки-голубушки,
Луговые серы утушки,
Вы берите-ка скорешенько
Пялы новые, точеные,
Еще иглы золоченые,
Шелк бурмитчатый, наводчатый,
Мелкий бисер с ясным золотом,
Расшивайте к сроку-времени
Разузорчатую завесу!
На одном углу — скради глаза,
Наведите солнце с месяцем,
На другом углу — рехнись ума,
Нижьте девушку с прилукою!

Как наедут сват со свахою,
Поезжане с девьим выкупом,
Разглядятся и раззарятся
На мудрены красны шитицы,
А раззарясь, с думы выкинут
Сватать павушку за ворона,
Ощипать перо лазорево,
Довести красу до омута!

‹1914›

* * *

Не под елью белый мох
Изоржавел и засох,

Зарастала сохлым мхом
Пахотинка-чернозем.

Привелося на грехи
Раскосулить белы мхи,

Призасеять репку,
Не часту, не редку.

Вырастала репа-мед
Вплоть до тещиных ворот...

Глядь, в осенний репорез
Вор на репище залез.

Как на воре тещин плат
Красной вышивкой назад,

Подзатыльник с галуном...
Неподатлив чернозем.

Зять воровку устерег,
Побивало приберег,

Что ль гужину во всю спину,
На затылицу батог.

Завопила теща-мать:
«Государь — любимый зять,

Погоди меня казнить,
Вели говор говорить!

Уж как я, честна́ вдова,
Как притынная трава,

Ни ездок, ни пешеход
Муравы не колыхнет,

Потоптал тимьян-траву
Ты на студную молву,

Я за студную беду
Дочку-паву уведу!

Ах, без павушки павлин —
Без казны гостиный сын,

Он в зеленый сад пойдет —
Мелко листье опадет,

Выйдет в красный хоровод —
Отшатится весь народ.

Ему тамова житье,
Где кабацкое питье,

Где кружальный ковш гремит,
Ретивое пепелит,

Ронит кудри на глаза
Перегарная слеза!»

⟨1914⟩

* * *

На селе четыре жителя,
Нет у девки уважителя, —
Как у Власа-то савраса борода,
У Никиты нос подбитый завсегда,
У Савелья от безделья чернота —
Не выводится цигарка изо рта,
У Ипата кудревата голова,
Да пронесена недобрая молва:
Будто ночкою Ипатушка
Загубил свою разлапушку —
Вышибал ей печень черную
За повадку непокорную,
За орехи, за изюмные стручки,
За ручные мелкотравчаты платки,
На платочках красны литеры —
Подарил купец из Питера...
Кабы я Ипату любушкой была,
Не такое бы бесчестье навела,
Накурила бы вина позеленей,
Напекла бы колобов погорячей,
Угостила б супостата-миляша,
Чтобы вышла из постылого душа!..

Ах, тальянка медносборчатая,
Голосистая, узорчатая,
Выдай погрецы детинушке —
Ласкослову сиротинушке,
Чтобы девку не сушила сухота,
Без жадобного не сгибла б красота,
Не палила б мои кречетьи глаза
Неуемная капучая слеза!

‹1914›

ПЕСНЯ ПРО ВАСИХУ

Откуль пошло прозвище
Лешева Находка.

Кемское предание

Баба Василиста
Хороша, грудиста,
Голова кувшином
С носом журавлиным,
Руки — погонялки,
Ноги — волчьи пялки.
Как пошла Васиха
Слободе на лихо
Бёрда наживати,
Самобранку ткати.
Дали ей бёрдище
По колу зубище...
На повозной паре
Ехали бояре,
Охобни бобровы,
Сами черноброви:
«Помогай те боже
Вытыкать рогожи!»

Баба Василиста
На язык речиста,
Как выжлец у сала,
Мерином заржала.
«Ай да баба-пава,
Гридняя забава...
Быть тебе, Васиха,
В терему ткачихой,
За глумство-отвагу
Трескать солодягу,
За кудель на тыне
Окрестить отныне
Красную Слободку
В Лешеву Находку!»

‹1914›

ИВУШКА ЗЕЛЕНЕНЬКА...

Ивушка зеленéнька —
Девушка молодéнька.
Стали иву ломати —
Девку замуж отдавати.
Красна девушка догадалась,
В нову горницу, свет, кидалась:
«Ах ты, горенка — светлая сидельня,
Мне-ка нонева не до рукоделья,
А еще не до смирныя беседы!
Ах вы, пялы мои золочены,
Ворота ли вами подпирати?
Вы, шелки мои — бобчаты поясья,
По сугорам ли вас расстилати?
Уж вы плящие, ярые свечи,
Темны корбы ли вами палити?
Ты согрева — муравчата лежанка,
Не смолой ли тебя растопити?»
Отвечала лежанка-телогрейка
Она речью крещеной человечьей:
«Лучше б тебе, девушке, родиться
Во сыром болоте черной кочкой,
Чем немилу сапог разувати,
За онучею гривну искати,
За нее лиходея целовати!»

‹1914›

СОЛДАТКА

Скучно молодешеньке у свекра жить в дому,
Мне питье в досадушку, еда не по уму,
Русы мои косыньки повысеклися,
Белые руки примозолилися,
Животы-приданое трунь взяла!

Погляжу я, беднушка, в стекольчато окно —
Не увижу ль милого за ря́дой во торгу.
Ах, не торг на улице, не красная гульба,
А лежит дороженька Коломенская!..

Как по этой ли дороге воевать милой ушел,
Издалеча слал поклоны, куньей шапкою махал,
На помин зеленой иве часто ветье заломал:
«Мол, пожди меня, сударка, покуль ива зелена,
А как ива облетит, втымеж я буду убит,
Меня ветер отпоет, полуночь глаза сомкнет,
А поплачут надо мной воронье с ковыль-травой!»

‹1914›

* * *

На сивом плесе гагарий зык, —
Знать, будет вёдро и зной велик,
Как клуб бересты в ночи луна —
Рассвету лапти плетет она.
Сучит оборы жаровый пень,
И ткет онучи чернавка-тень.
Рассвет-кудрявич, лихой мигач,
В лесной избушке жует калач,
Глядит в оконце, и волос рус
Зарит вершины, как низка бус.
Заря Рассвету: «Ах, в руку сон!
Я пряла тучку — саврасый лен,
Колдунья-буря порвала нить,
Велела прялку навек забыть!»
Рассвет на речь ту: «Хитрить не след,
Не День ли, купчик, тебе сосед?
Не я ли прялка? Мне в путь пора, —
Настыла за ночь берез кора...»
И стукнул дверью... А купчик млад
В избу, как кречет, уходу рад.
Чтобы с жадобным уснуть часок,
Сымает Зорька ему сапог.

Глядь, луч в оконце... Рыжеет бор,
Рассвет над плесом зажег костер.
И День затмился: «Любовь не в час!
Не тятька ль Вечер спешит в лабаз!
В лабазе сукна алей огня,
До звезд, сударка, не жди меня...»
И хлопнул дверью... Заря одна
Пошла за полог бледнее льна,
Слезой сытовой смочить рукав,
Чтоб льны дыбились тучней дубрав,
Чтоб рос под елью малыш-красик,
И славил вёдро гагарий зык.

8 августа 1914

* * *

В суслонах усатое жито,
Скидает летнину хорек,
Болото туманом покрыто,
И рябчик летит на манок.

У деда лесная обнова —
Берестяной белый кошель,
Изба богомольно сурова,
И хмура привратница-ель.

Крикливы куличьи пролеты
В ущербной предсолнечной мгле,
Медведю сытовые соты
Мерещатся в каждом дупле.

Дух осени пряннично-терпкий
Сулит валовой листопад,
Пасет преподобный Аверкий
На речке буланых утят.

На нем балахонец убогий,
Но в сутемень видится мне,
Как свечкою венчик двурогий
Маячит в глухой глубине.

16 августа 1914

* * *

Луговые потемки, омежки, стога,
На пригорке ракита — сохачьи рога,
Захлебнулась тальянка горючею мглой,
Голосит, как в поминок семья по родной:
«Та-ля-ля, та-ля-ля, ти-ли-ли.
Сенокосные зори прошли,
Август-дед, бородища снопом,
Подарил гармониста ружьем.
Эх-ма, старый, не грызла б печаль,
Да родимой сторонушки жаль.
Чует медное сердце мое,
Что погубит парнюгу ружье,
Что от пули ему умереть,
Мне ж поминные приплачки петь! . .»
Луговые потемки как плат;
Будет с парня пригожий солдат,
Только стог-бородач да поля
Не услышат ночного «та-ля»...

Медным плачем будя тишину,
Насулила тальянка войну.

1914(?)

* * *

Талы избы, дорога,
Буры пни и кусты,
У лосиного лога
Четки елей кресты.

На завалине лыжи
Обсушил полудняк,
Снег дырявый и рыжий,
Словно дедов армяк.

Зорька в пестрядь и лыко
Рядит сучья ракит,
Кузовок с земляникой —
Солнце метит в зенит.

Дятел — пущ колотушка —
Дразнит стуком клеста,
И глухарья ловушка
На сегодня пуста.

1914 или 1915

* * *

Октябрь — петух медянозобый —
Горланит в ветре и в лесу:
«Я в листопадные сугробы
Яйцо снеговое снесу».

И лес под клювом петушиным
Дырявым стал. Курятник туч
Сквозит пометом голубиным, —
Мол, духа божьего не мучь,

Снести яйцо на первопутки
Однажды в год тебе дано...
Как баба, выткала за сутки
Речонка сизое рядно.

Близки дубленые Покровки,
Коровьи свадьбы, конский чёс.
И к звездной кузнице, для ковки,
Плетется облачный обоз.

1914 или 1915

* * *

Галка-староверка ходит в черной ряске,
В лапотках с оборой, в сизой подпояске.
Голубь в однорядке, воробей в сибирке,
Курица ж в салопе — клеваные дырки.
Гусь в дубленой шубе, утке ж на задворках
Щеголять далося в дедовских опорках.

В галочьи потемки, взгромоздясь на жердки,
Спят, нахохлив зобы, курицы-молодки,
Лишь петух-кудесник, запахнувшись в саван,
Числит звездный бисер, чует травный ладан.

На погосте свечкой теплятся гнилушки,
Доплетает леший лапоть на опушке,
Верезжит в осоке проклятый младенчик...
Петел ждет, чтоб зорька нарядилась в венчик.

У зари нарядов тридевять укладок...
На ущербе ночи сон куриный сладок:
Спят монашка-галка, воробей-горошник...
Но едва забрезжит заревой кокошник —

Звездочет крылатый трубит в рог волшебный:
«Пробудитесь, птицы, пробил час хвалебный,
И пернатым брашно, на бугор, на плесо,
Рассыпает солнце золотое просо!»

1914 или 1915

* * *

Оттепель — баба-хозяйка,
Лог — как беленая печь.
Тучка — пшеничная сайка
Хочет сытою истечь.

Стряпке всё мало раствора,
Лапти в муке до обор...
К посоху дедушки-бора
Жмется малютка сугор:

«Дед, пробудися, я таю, —
Нет у шубейки полы!»
Дед же спросонок: «Знать, к маю
Смолью дохнули стволы».

«Дедушка, скоро ль сутёмки
Косу заре доплетут?..»
Дед же: «Сыреют в котомке
Чай и огниво и трут.

Нет по проселку проходу,
Всюду раствор да блины...»

В вешнюю полую воду
Думы, как зори, ясны.

Ждешь, как вестей, жаворóнка,
Ловишь лучи на бегу...
Чу! Громыхает заслонка
В теплом, разбухшем логу.

1914 или 1915

* * *

В овраге снежные ширинки
Дырявит посохом закат,
Полощет в озере, как в кринке,
Плеща на лес, кумачный плат.

В расплаве мхов и тине роясь, —
Лесовику урочный дар, —
Он балахон и алый пояс
В тайгу забросил, как пожар.

У лесового нос — лукошко,
Волосья — поросли ракит...
Кошель с янтарною морошкой
Луна забрезжить норовит.

Зарит... Цветет загозье лыко,
Когтист и свеж медвежий след,
Озерко — туес с земляникой,
И вешний бор — за лаптем дед.

Дымится пень, ему лет со сто,
Он в шапке, с сивой бородой...
Скрипит лощеное берёсто
У лаптевяза под рукой.

‹1915›

* * *

На темном ельнике стволы берез —
На рытом бархате девические пальцы.
Уже рябит снега, и слушает откос,
Как скут струю ручья невидимые скальцы.

От лыж неровен след. Покинув темь трущоб,
Бредет опушкой лось, вдыхая ветер с юга,
И та́ежный звонарь — хохлатая лешуга,
Усевшись на суку, задорно пучит зоб.

⟨1915⟩

* * *

Уже хоронится от слежки
Прыскучий заяц... Синь и стыть,
И нечем голые колешки
Березке в изморозь прикрыть.

Лесных прогалин скатерётка
В черничных пятнах, на реке
Горбуньей-девушкою лодка
Грустит и старится в тоске.

Осина смотрит староверкой,
Как четки, листья обронив,
Забыв хомут, пасется Серко
На глади сонных, сжатых нив.

В лесной избе покой часовни —
Труда и светлой скорби след...
Как Ной ковчег, готовит дровни
К веселым заморозкам дед.

И ввечеру, под дождик сыпкий,
Знать, заплутав в пустом бору,
Зайчонок-луч, прокравшись к зыбке,
Заводит с первенцем игру.

(1915)

* * *

Облиняла буренка,
На задворках теплынь,
Сосунка-жеребенка
Дразнит вешняя синь.

Преют житные копны,
В поле про́бель и зель...
Чу! Не в наши ли окна
Постучался апрель?

Он с вербо́ю монашек,
На груди образок,
Легкозвоннее пташек
Ветровой голосок.

Обрядись в пятишовку,
И пойдем в синь и гать,
Солнце — божью коровку
Аллилуйем встречать.

Прослезиться у речки,
Погрустить у бугров!..
Мы — две белые свечки
Перед ликом лесов.

‹1915›

* * *

Лесные сумерки — монах
За узорóчным часословом,
Горят заставки на листах
Сурьмою в золоте багровом.

И богомольно старцы пни
Внимают звукам часословным...
Заря, задув свои огни,
Тускнеет венчиком иконным.

Лесных погостов старожил,
Я молодею в вечер мая,
Как о судьбе того, кто мил,
Над палой пихтою вздыхая.

Забвенье светлое тебе,
В многопридельном хвойном храме,
По мощной жизни, по борьбе,
Лесными ставшая мощами!

Смывает киноварь стволов
Волна финифтяного мрака,
Но строг и вечен часослов
Над котловиною, где рака.

‹1915›

* * *

Не в смерть, а в жизнь введи меня,
Тропа дремучая лесная!
Привет вам, братья-зеленя,
Потемки дупел, синь живая!

Я не с железом к вам иду,
Дружась лишь с посохом да рясой,
Но чтоб припасть в слезах, в бреду
К ногам березы седовласой,

Чтоб помолиться лику ив,
Послушать пташек-клирошанок
И, брашен солнечных вкусив,
Набрать младенческих волвянок.

На мху, как в зыбке, задремать
Под «баю-бай» осиплой ели...
О, пуща-матерь, тучки прядь,
Туман, пушистее кудели,

Как сладко брагою лучей
На вашей вечере упиться,
Прозрев, что веткою в ручей
Душа родимая глядится!

‹1915›

* * *

Вот и я — суслон овсяный,
Шапка набок, весь в поту,
Тишиною безымянной
Славлю лета маету.
Эво, лес, а вот проселок,
Талый воск березняка,
Журавлиный, синий волок
Взбороздили облака.
Просиял за дальним пряслом
Бабий ангел Гавриил,
Животворным, росным маслом
Вечер жнивье окропил:
Излечите стебли раны —
Курослеп, смиренный тмин;
Сытен блин, кисель овсяный
На крестинах и в помин.
Благовестный гость недаром
В деревушку правит лёт —
Быть крестинам у Захара
В золотистый умолот.
Я суслон, кривой, негожий,
Внемлю тучке и листу.
И моя солома — ложе
Черносошному Христу.

‹1915›

МИРСКАЯ ДУМА

Не гуси в отлет собирались,
Не лебеди на озере скликались,
Подымались мужики — пудожане,
С заонежской кряжистой карелой,
С каргопольскою дикой лешнею,
Со всею полесной хвойною силой,
Постоять за крещеную землю,
За зеленую матерь-пустыню,
За березыньку с вещей кукушкой...

Из-под ели двадесять вершинной,
От сиговья Муромского плеса,
Подымался Лазарь преподобный
Ратоборцам дать благословенье,
Провещать поганых одоленье...
Вопрошали Лазаря лешане,
Каргополы, чудь и пудожане:
«Источи нам, Лазаре всечудный,
На мирскую думу сказ медвяный:
Что помеха злому кроволитью —
Ум-хитрец аль песня-межеумка,
Белый воск аль черное железо?»
Рек святой: «Пятьсот годин в колоде
Почивал я, об уме не тщася,
Смерть моих костей не обглодала,

Из телес не выплавила сала,
Чтоб отлить свечу, чей брезг бездонный
У умерших теплится во взоре,
По ночному кладбищу блуждает,
Черепа на плитах выжигая;
А железо проклято от века:
Им любовь пригвождена ко древу,
Сожаленью ребра перебиты,
Простоте же в мир врата закрыты.
Белый воск и песня-недоумка
Истекли от вербы непорочной:
Точит верба восковые слезы
И ведет зеленый тайный причит
Про мужицкий рай, про пир вселенский,
Про душевный град, где «Свете тихий».
И тропарь зеленый кто учует,
Тот на тварь обуха не поднимет,
Не подрубит яблони цветущей
И веслом бездушным вод не ранит...»
Поклонились Лазарю лешане,
Каргополы, лопь и пудожане:
«Сказ блаженный, как «баю́» над зыбкой,
Что певала бабка Купариха
У Дедери Храброго на свадьбе.
Был Дедеря лют на кроволитье;
После ж песни стал как лес осенний:
Сердцем в воск, очами в хвой потемки,
А кудрями в прожелть листопада».

‹1915›

* * *

Растрепало солнце волосы —
Без кудрей, мол, я пригоже,
На продрогший луч и полосы
Стелет блесткие рогожи.

То обшарит куст ракитовый,
То распляшется над речкой!..
У соседок не выпытывай:
Близко милый аль далечко.

За Онежскими порогами
Есть края, где избы — горы,
Где щетина труб с острогами
Застит росные просторы.

Там могилушка бескрестная
Безголосьем кости нежит
И луна, как свечка местная,
По ночам над нею брезжит,

Привиденьем жуть железная,
Запахнувшись в саван, бродит, —

Не с того ль, моя болезная,
Солнце тучи хороводит?

Аль и солнышко отмыкало
Болесть нив и бездорожий
И земле в поминок выткало
Золоченые рогожи?

⟨1915⟩

* * *

Болесть да засу́ха,
На скотину мор.
Горбясь, шьет старуха
Мертвецу убор.

Холст ледащ на ощупь,
Слепы нить, игла...
Как медвежья поступь,
Темень тяжела.

С печи смотрят годы
С карлицей-судьбой.
Водят хороводы
Тучи над избой.

Мертвый дух несносен,
Маета и чад.
Помелища сосен
В небеса стучат.

Глухо божье ухо,
Свод надземный толст.
Шьет, кляня, старуха
Поминальный холст.

‹1915›

* * *

Что ты, нивушка, чернешенька,
Как в нужду кошель, порожнешенька,
Не взрастила ты ржи-гуменицы,
А спелёгала — к солнцу выгнала
Неедняк-траву с горькой пестушкой?

Оттого я, свет, чернотой пошла,
По омежикам замуравела,
Что по вёдру я не косулена,
После белых рос не боронена,
Рожью низовой не засеяна...

А и что ты, изба, пошатилася,
С парежа-угара, аль с выпивки,
Али с поздних просонок расхамкавшись,
Вплють до ужина чешешь пазуху,
Не запрешь ворот — рта беззубого,
Креня в сторону шолом-голову?

Оттого я, свет, шатуном гляжу,
Не смыкаю рта деревянного,

Что от бела дня до полуночи
«Воротись», — вопю доможирщику,
Своему ль избяному хозяину.
Вопия, надорвала я печени —
Глинобитную печь с теплым дымником.
Видно, утушке горькой — хозяюшке
Вековать приведется без селезня!

Ты, дорога-путинушка дальняя,
Ярый кремень да супесь горючая,
Отчего ты, дороженька, куришься,
Обымаешься копотью каменной?
Али дождиком ты не умывана,
Не отерта туманом-ширинкою,
Али лапоть с клюкой-непоседою
Больно колют стоверстную спинушку?

Оттого, человече, я куревом
Замутилась, как плесо от невода,
Что по мне проходили солдатушки
С громобойными лютыми пушками.
Идучи, они пели: «Лебедушку
Заклевать солеталися вороны»,
Друг со другом крестами менялися,
Полагали зароки великие:
«Постоим-де мы, братцы, за родину,
За мирскую Микулову пахоту,
За белицу-весну с зорькой-свеченькой,
Над мощами полесий затепленной! . .»
Стороною же, рыси лукавее,
Хоронясь за бугры да валежины,

Кралась смерть, отмечая на хартии,
Как ярыга, досрочных покойников.

Ах ты, ель-кружевница трущобная,
Не чета ты кликуше осинушке,
Что от хвойного звона да ладана
Бьет в ладошки и хнычет по-заячьи.
Ты ж сплетаешь зеленое кружево,
От коклюшек ресниц не сдымаючи,
И ни месяц-проныра, ни солнышко
Не видали очей твоих девичьих.
Молви, ёлушка, с горя аль с устали
Ты верижницей строгою выглядишь?
Не топор ли тебе примерещился,
Печь с беленым, развалистым жарником:
Пышет пламя, с таганом бодается,
И горишь ты в печище, как грешница?

Оттого, человече, я выгляжу
Срубом-церковкой, в пуще забытою,
Что сегодня солдатская матушка
Подо мною о сыне молилася:
Она кликала грозных архангелов,
Деву-Пятенку с Теплым Николою,
Припадала, как к зыбке, к валежине,
Называла валежину Ванюшкой;
После мох, словно волосы, гладила
И казала сосцы почернелые...
Я покрыла ее епитрахилью,
Как умела родную утешила...
Слезы ж матери — жито алмазное —
На пролете склевала кукушица,

А склевавши, она спохватилася,
Что не птичье то жито, а божие...
Я считаю ку-ку покаянные
И в коклюшках, как в требнике,
путаюсь.

‹1915›

* * *

В этот год за святыми обеднями
Строже лики и свечи чадней,
И выходят на паперть последними
Детвора да гурьба матерей.

На завалинах рать сарафанная,
Что ни баба, то горе-вдова;
Вечерами же мглица багряная
Поминальные шепчет слова.

Посиделки, как трапеза братская, —
Плат по брови, послушней кудель,
Только изредка матерь солдатская
Поведет причитаний свирель:

«Полетай, моя дума болезная,
Дятлом-птицею в сыр-темен бор. . .»
На загуменье ж поступь железная —
Полуночный Егорьев дозор.

Ненароком заглянешь в оконницу —
Видишь въявь, как от северных вод

Копьеносную звездную конницу
Страстотерпец на запад ведет,

Как влачит по ночным перелесицам
Сполох-конь аксамитный чепрак
И налобником ясным, как месяцем,
Брезжит в ельник, пугаючи мрак.

1915

ИЗБЯНЫЕ ПЕСНИ

Памяти матери

1

Четыре вдовицы к усопшей пришли...
(Крича, бороздили лазурь журавли,
Сентябрь-скопидом в котловин сундуки
С сынком-листодером ссыпал медяки).

Четыре вдовы в поминальных платках:
Та с гребнем, та с пеплом, с рядниной в руках;
Пришли, положили поклон до земли,
Опосле с ковригою печь обошли,
Чтоб печка-лебедка, бела и тепла,
Как допрежь, сытовые хлебы пекла.

Посыпали пеплом на куричий хвост,
Чтоб немочь ушла, как мертвец, на погост,
Хрущатой рядниной покрыли скамью,
На одр положили родитель мою.

Как ель под пилою, вздохнула изба,
В углу зашепталася теней гурьба,

В хлевушке замукал сохатый телок,
И вздулся, как парус, на грядке платок...
Дохнуло молчанье... Одни журавли,
Как витязь победу, трубили вдали:

«Мы матери душу несем за моря,
Где солнцеву зыбку качает заря,
Где в красном покое дубовы столы
От мис с киселем, словно кипень, белы, —
Там Митрий Солунский, с Миколою Влас
Святых обряжают в камлот и атлас,
Креститель Иван с ендовы расписной
Их поит живой иорданской водой!..»

Зарделось оконце... Закат-золотарь
Шасть в избу незваный: принес-де стихарь —
Умершей обнову, за песни в бору,
За думы в рассветки, за сказ ввечеру,
А вынос блюсти я с собой приведу
Сутёмки, зарянку и внучку-звезду,
Скупцу ж листодеру чрез мокреть и гать
Велю золотые ширинки постлать.

2

Лежанка ждет кота, пузан-горшок хозяйку —
Объявятся они, как в солнечную старь,
Мурлыке будет блин, а печку-многознайку
Насытят щаный пар и гречневая гарь.

В окне забрезжит луч — волхвующая сказка,
И вербой расцветет ласкающий уют;

Запечных бесенят хихиканье и пляска,
Как в заморозки ключ, испуганно замрут.

Увы, напрасен сон. Кудахчет тщетно рябка,
Что крошек нет в зобу, что сумрак так уныл —
Хозяйка в небесах, с мурлыки сшита шапка,
Чтоб дедовских седин буран не леденил.

Лишь в предрассветный час лесной, снотворной влагой
На избяную тварь нисходит угомон,
Как будто нет Судьбы, и про блины с котягой,
Блюдя печной дозор, шушукает заслон.

3

Осиротела печь, заплаканный горшок
С таганом шепчутся, что умерла хозяйка,
А за окном чета доверчивых сорок
Стрекочет: «Близок май, про то, дружок, узнай-ка!

Узнай, что снегири в лесу справляют свадьбу,
У дятла-кузнеца облез от стука зоб,
Что, вверивши жуку подземную усадьбу,
На солнце вылез крот — угрюмый рудокоп,

Что тянут журавли, что проболталась галка
Воришке воробью про первое яйцо...»

Изжаждалась бадья, вихрастая мочалка
Тоскует, что давно не моется крыльцо.
Теперь бы плеск воды с веселою уборкой,
В окне кудель лучей и сказка без конца...

За печкой домовой твердит скороговоркой
О том, как тих погост для нового жильца,

Как шепчутся кресты о вечном, безымянном,
Чем сумерк паперти баюкает мечту.
Насупилась изба, и оком оловянным
Уставилось окно в капель и темноту.

4

«Умерла мама» — два шелестных слова.
Умер подойник с чумазым горшком,
Плачется кот и понура корова,
Смерть постигая звериным умом.

Кто она? Колокол в сумерках пегих,
Дух живодерни, ведун-коновал,
Иль на грохочущих пенных телегах
К берегу жизни примчавшийся шквал?

Знает лишь маковка ветхой церквушки, —
В ней поселилась хозяйки душа...
Данью поминною — рябка в клетушке
Прочит яичко, соломой шурша.

В пестрой укладке повойник и бусы
Свадьбою грезят: «Годов пятьдесят
Бог насчитал, как жених черноусый
Выменял нас — молодухе в наряд».

Время, как шашель, в углу и за печкой,
Дерево жизни буравит, сосет...

В звезды конек и в потемки крылечко
Смотрят и шепчут: «Вернется... придет...»

Плачет капелями вечер соловый;
Крот в подземелье и дятел в дупле...
С рябкиной дремою, ангел пуховый
Сядет за прялку в кауровой мгле.

«Мама в раю, — запоет веретенце, —
Нянюшкой светлой младенцу Христу...»
Как бы в стихи, золотые, как солнце,
Впрясть волхвованье и песенку ту?

Строки и буквы — лесные коряги,
Ими не вышить желанный узор...
Есть, как в могилах, душа у бумаги —
Алчущим перьям глубинный укор.

5

Шесток для кота — что амбар для попа,
К нему не заглохнет кошачья тропа:
Зола как перина — лежи, почивай, —
Приснятся снетки, просяной каравай.

У матери-печи одно на уме:
Теплынь уберечь да всхрапнуть в полутьме;
Недаром в глухой, свечеревшей избе,
Как парусу в вёдро, дремотно тебе.

Ой, вороны-сны, у невесты моей
Не выклевать вам беспотемных очей!

Летите к мурлыке, на теплый шесток,
Куда не заглянет прожорливый рок,

Где странники-годы почили золой,
И бесперечь хнычет горбун-домовой;
Ужели плакида, запечный жилец,
Почуял разлуку и сказки конец?

Кота ж лежебока будите скорей,
Чтоб был настороже у чутких дверей,
Мяукал бы злобно и хвост распушил,
На смерть трясогузую когти острил.

6

Весь день поучатися правде Твоей,
Как вешнюю озимь, ждать светлых гостей,
В раю избяном, и в затишье гумна
Поплакать медово, что будет «она».

Задремлется деду, лучина замрет —
Бесплотная гостья в светелку войдет,
Поклонится Спасу, погладит внучат,
Как травка лучу, улыбнется на плат:

Висит, дескать, сирый, хозяйке взамен
Повыкован венчик из облачных пен:
Очелье — алмаз, по бокам — изумруд,
Трех отроков пещных и ангелов труд.

Петух кукарекнет, забрезжит светец,
В дверях засияет Медостов венец,

Пречудный святитель войдет с посошком,
В пастушьих лапотцах, повитый лучом.

За ним, умеряючи крыл паруса,
Предстанет Иван — грозовая краса:
Он с чашей крестильной, и голубь над ним...
Всю ночь поучаюсь я тайнам Твоим.

Заутра у бурой полнее удой,
У рябки яичко и весел гнедой.
А там, где святые росою прошли,
С курлыканьем звонким снуют журавли:

Чтоб сизые крылья и клюв укрепить,
Им надо росы благодатной испить.

7

Хорошо ввечеру при лампадке
Погрустить и поплакать втишок,
Из резной низколобой укладки
Недовязанный вынуть чулок.

Ненаедою-гостем за кружкой
Усадить на лежанку кота
И следить, как лучи над опушкой
Догорают виденьем креста,

Как бредет позад дремлющих гумен,
Оступаясь, лохмотница-мгла...
Всё по-старому: дед, как игумен,
Спит лохань, и притихла метла.

Лишь чулок — как на отмели верши,
И с котом раздружился клубок.
Есть примета: где милый умерший,
Там пустует кольцо иль чулок,

Там божничные сумерки строже.
Дед безмолвен, провидя судьбу,
Глубже взор и морщины... О, боже —
Завтра год, как родная в гробу!

8

Заблудилось солнышко в корбах темнохвойных,
Износило лапчатый золотой стихарь:
Не бежит ли красное от людей разбойных,
Не от злых ли кроется в сутемень да в марь?

Али корба хвойная с бубенцами шишек,
С рушниками-зорями просини милей,
Красики с волвянками слаще звездных пышек
И громов размычливей гомон журавлей?

Эво, на валежине, словно угли в жарнике,
Половеет лапчатый золотой стихарь...
Потянули за море витлюки-комарники,
Нижет перелесица бляшки да янтарь.

Сядь, моя жадобная, в сарафане сборчатом,
В камчатом накоснике, за послушный лен, —
Постучится солнышко под оконцем створчатым,
Шлет-де вестку матушка с тутошних сторон:

Мы в ответ: «Радехоньки говору то-светному,
Ходоку от маминой праведной души,
Здынься по крылечику к жарнику приветному,
От росы да мокрети лапти обсуши!»

Полыхнувши золотом, прянет гость в предызбицу,
Краснобайной сказкою пряху улестит...
Как игумен в куколе, вечер, взяв кадильницу,
Складню рощ финифтяных ладаном кадит.

В домовище матушка... Пасмурной округою
Водит мглу незрячую поводырка-жуть,
И в рогожном кузове, словно поп за ругою,
В сторону то-светную солнце правит путь.

9

От сутёмок до звезд и от звезд до зари
Бель бересты, зыбь хвой и смолы янтари,

Перекличка гагар, вод дремучая дремь,
И в избе, как в дупле, рудо-пегая темь,

От ловушек и шкур лисий та́ежный дух,
За оконцем туман, словно гагачий пух,

Журавлиный пролет, ропот ливня вдали,
Над поморьем лесов облаков корабли,

Над избою кресты благосенных вершин...
Спят в земле дед и мать, я в потемках один.

Чую, сеть на стене, самопрялка в углу,
Как совята с гнезда, загляделись во мглу.

Сиротеют в укладе шушун и платок,
И на отмели правит поминки челнок,

Ель гнусавит псалом: «Яко воск от огня. . .»
Далеко до лесного железного дня,

Когда бор, как кольчужник, доспехом гремит —
Королевну-зарю полонить норовит.

10

Бродит темень по избе,
Спотыкается спросонок,
Балалайкою в трубе
Заливается бесенок:

«Трынь, да брынь, да тере-рень. . .»
Чу! Заутренние звоны. . .
Богородицына тень,
Просияв, сошла с иконы.

В дымовище сгинул бес,
Печь, как старица, вздохнула,
За окном бугор и лес
Зорька в сыту окунула.

Там, минуючи зарю,
Ширь безвестных плоскогорий,

Одолеть судьбу-змею
Скачет пламенный Егорий.

На задворки вышел Влас
С вербой, в венчике сусальном.
Золотой, воскресный час,
Просиявший в безначальном.

11

Зима изгрызла бок у стога,
Вспорола скирды, но вдомек
Буренке пегая дорога
И грай нахохленных сорок.

Сороки хохлятся — к капели,
Дорога пега — быть теплу.
Как лещ наживку, ловят ели
Луча янтарную иглу.

И луч бежит в переполохе,
Ныряет в хвои, в зыбь ветвей...
По вечерам коровьи вздохи
Снотворней бабкиных речей:

«К весне пошло, на речке глыбко,
Буренка чует водополь...»
Изба дремлива, словно зыбка,
Где смолкли горести и боль.

Лишь в поставце, как скряга злато,
Теленье числя и удой,
Подойник с крынкою щербатой
Тревожат сумрак избяной.

12

В селе Красный Волок пригожий народ:
Лебедушки девки, а парни как мед,
В моленных рубахах, в беленых портах,
С малиновой речью на крепких губах;

Старухи в долгушках, а деды — стога,
Их россказни внукам милей пирога:
Вспушатся усищи, и киноварь слов
Выводит узоры пестрей теремов.

Моленна в селе — семискатный навес:
До горнего неба семь нижних небес,
Ступенчаты крыльца, что час, то ступень,
Всех двадцать четыре — заутренний день.

Рундук запорожный — пречудный Фавор,
Где плоть убелится, как пена озер.
Бревенчатый короб — утроба кита,
Где спасся Иона двуперстьем креста.

Озерная схима и куколь лесов
Хоронят село от людских голосов.
По Пятничным зорям на хартии вод
Всевышние притчи читает народ:

«Сладчайшего гостя готовьтесь принять!
Грядет он в нощи, яко скимен и тать;
Будь парнем женатый, а парень как дед...»
Полощется в озере маковый свет,
В пеганые глуби уходит столбом
До сердца земного, где праотцов дом.

Там, в саванах бледных, соборы отцов
Ждут радужных чаек с родных берегов:
Летят они с вестью, судьбы бирючи,
Что попрана Бездна и Ада ключи.

13

Коврига свежа и духмяна,
Как росная пожня в лесу,
Пушист у кормилицы мякиш
И бел, как береста, испод.

Она — избяное светило,
Лучистее детских кудрей,
В чулан загляни ненароком —
В лицо тебе солнцем пахнёт.

И в час, когда сумерки вяжут,
Как бабка, косматый чулок,
И хочется маленькой Маше
Сытового хлебца поесть —

В ржаном золотистом сиянье
Коврига лежит на столе,

Ножу лепеча: «Я готова
Себя на закланье принесть».

Кусок у малютки в подоле —
В затоне рыбачий карбас:
Поломана мачта, пучиной
Изгрызены днище и руль, —

Но светлая радость спасенья,
Прибрежная тишь после бурь
Зареют в ребяческих глазках,
Как вёдреный, синий июль.

14

Вешние капели, солнопек и хмара,
На соловом плесе первая гагара,

Дух хвои, бересты, проглянувший щебень,
Темью сонь-липуша, россказни да гребень.

Тихий, мерный ужин, для ночлега лавка,
За оконцем месяц — божья камилавка,

Сон сладимей сбитня, петухи спросонок,
В зыбке снегиренком пискнувший ребенок,

Над избой сутемки — дедовская шапка,
И в углу божничном с лестовкою бабка,

От печного дыма ладан пущ сладимый,
Молвь отшельниц-елей: «Иже херувимы!..»

Вновь капелей бусы, солнопека складень,
Дум — гагар пролетных не исчислить за день.

Пни — лесные деды, в дуплах гуд осиный,
И от лыж пролужья на тропе лосиной.

15

Ворон грает к теплу, а сорока — к гостям,
Ель на полдень шумит — к звероловным вестям.

Если полоз скрипит, конь ушами прядет —
Будет в торге урон и в кисе недочет.

Если прыскает кот и зачешется нос —
У зазнобы рукав полиняет от слез.

А над рябью озер прокричит дребезда —
Полонит рыбака душегубка вода.

Дятел угол долбит — загорится изба,
Доведет до разбоя детину гульба.

Если девичий лапоть ветшает с пяты —
Не доесть и блина, как наедут сваты.

При запалке ружья в уши кинется шум —
Не выглаживай лыж, будешь лешему кум.

Семь примет к мертвецу, но про них не теперь —
У лесного жилья зааминена дверь,

Под порогом зарыт «богородицын сон», —
От беды-худобы нас помилует он.

Между 1914 и 1916

РОЖЕСТВО ИЗБЫ

От кудрявых стружек тянет смолью,
Духовит, как улей, белый сруб.
Крепкогрудый плотник тешет колья,
На слова медлителен и скуп.

Тёпел паз, захватисты кокоры,
Крутолоб тесовый шоломок.
Будут рябью писаны подзоры
И лудянкой выпестрен конек.

По стене, как зернь, пройдут зарубки:
Сукрест, лапки, крапица, рядки,
Чтоб избе-молодке в красной шубке
Явь и сонь мерещились — легки.

Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепа как письмена:
Запоет резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна.

И когда оческами кудели
Над избой взлохматится дымок —
Сказ пойдет о красном древоделе
По лесам, на запад и восток.

1915 или 1916

* * *

Пушистые, теплые тучи,
Над плесом соловая марь.
За гатью, где сумрак дремучий,
Трезвонит Лесной Пономарь.

Плывут вечевые отгулы...
И чудится: витязей рать,
Развеся по ельнику тулы,
Во мхи залегла становать.

Осенняя явь Обонежья,
Как сказка, баюкает дух.
Чу, гул... Не душа ли медвежья
На темень расплакалась вслух?

Иль чует древесная сила,
Провидя судьбу наперед,
Что скоро железная жила
Ей хвойную ризу прошьет?

Зовут эту жилу Чугункой, —
С ней лихо и гибель во мгле...
Подъёлыш с ольховой лазункой
Таятся в родимом дупле.

Тайга — боговидящий инок,
Как в схиму, закуталась в марь.
Природы великий поминок
Вещает Лесной Пономарь.

1915 или 1916

* * *

Обозвал тишину глухоманью,
Надругался над белым «молчи»,
У креста простодушною данью
Не поставил сладимой свечи.

В хвойный ладан дохнул папиросой
И плевком незабудку обжег.
Зарябило слезинками плесо,
Growing Сединою заиндевел мох.

Светлый отрок — лесное молчанье,
Помолясь на заплаканный крест,
Закатилось в глухое скитанье
До святых, незапятнанных мест.

Заломила черемуха руки,
К норке путает след горностай...
Сын железа и каменной скуки
Попирает берестяный рай.

1915 или 1916

ВРАЖЬЯ СИЛА

Возят щебень, роют рвы,
Понукают лошаденок,
От встревоженной травы
Дух идет, горюч и тонок.

В лысый пень оборотясь,
На людей дивится леший:
Где дремали топь и грязь,
Там снуют ездок и пеший.

И береза, зелень кос
Гребню ветра подставляя,
Как вдова, бледна от слез —
Тяжела-де участь злая.

Камни — очи луговин
От тоски посоловели,
Прячут изморозь седин
Под кокошниками ели.

И звериный бог Медост
Пришлецам грозит корягой:

Мол, пробыть до первых звезд,
Опосля уйти ватагой.

Вот и звезды, как грибы,
На опушке туч буланых...
Вторя снам лесной избы,
Дед бранит гостей незваных:

«Принесло лихую рать,
Зайцу филина-соседа!..»
И с божницы богомать
Смотрит жалостно на деда.

А над срубленной сосной,
Где комарьи зой и плясы,
«Со святыми упокой», —
Шепчет сумрак седовласый.

1915 или 1916

* * *

Льнянокудрых тучек бег —
Перед вёдреным закатом.
Детским телом пахнет снег,
Затененный пнем горбатым.

Луч — крестильный образок
На валежину повешен,
И ребячий голосок
За кустами безутешен.

Под березой зыбки скрип,
Ельник в маревных пеленках...
Кто родился иль погиб
В льнянокудрых сутеменках?

И кому, склонясь, козу
Строит зорька-повитуха?..
«Поспрошай куму-лозу», —
Шепчет пихта, как старуха.

И лоза, рядясь в кудель,
Тайну светлую открыла:
«На заранке я апрель
В снежной лужице крестила».

‹1916›

СЛЕЗНЫЙ ПЛАТ

Не пава перо обронила,
Обронила мать солдатская платочек,
При дороженьке слезный утеряла.
А и дождиком плата не мочит,
Подкопытным песком не заносит...
Шел дорогой удалый разбойник,
На платок, как на злато, польстился —
За корысть головой поплатился.
Проезжал посиделец гостиный,
Потеряшку почел за прибыток —
Получил перекупный убыток...
Пробирался в пустыню калика,
С неугасною свеченькой в шуйце,
На устах с тропарем перехожим;
На платок он умильно воззрился,
Величал его честной слезницей:
«Ай же плат, много в устье морское
Льется речек, да счет их известен,
На тебе ж, словно рос на покосе,
Не исчислить болезных слезинок!
Я возьму тебя в красную келью
Пеленою под Гуриев образ,
Буду Гурию-Свету молиться
О солдате в побоище смертном,
Чтобы вражья поганая сабля

При замашке закал потеряла,
Пушки-вороны песенной думы
Не вспугнули бы граем железным,
Чтоб полесная яблоня-песня,
Чьи цветы плащаницы духмяней,
На Руси, как веха, зеленела
И казала бы к раю дорогу!»

‹1916›

* * *

Под низкой тучей вороний грай,
За тучей брезжит господний рай.
Вороньи пени на горний свет
Под образами прослышал дед.

Он в белой скруте, суров пробор,
Во взоре просинь и рябь озер...
Не каркай, ворон, тебе на снедь
Речное юдо притащит сеть!

Поделят внуки счастливый лов,
Глазастых торпиц, язей, сигов...
Земля погоста — притин от бурь,
Душа, как рыба, всплеснет в лазурь.

Не будет деда, но будет сказ,
Как звон кувшинок в лебяжий час,
Когда в просонки и в хмару вод
Влюбленный лебедь подруг ведет...

Дыряв и хлябок небесный плат,
Лесным гарищем чадит закат.
Изба как верша... Лучу вослед
В то-светный сумрак отходит дед.

⟨1916⟩

ЗЕМЛЯ И ЖЕЛЕЗО

1

Есть горькая супесь, глухой чернозем,
Смиренная глина и щебень с песком,
Окунья земля, травяная медынь,
И пегая охра, жилица пустынь.

Меж тучных, глухих и скудельных земель
Есть матерь-земля, бытия колыбель,
Ей пестун судьба, вертоградарь же — бог,
И в сумерках жизни к ней нету дорог.

Лишь дочь ее, Нива, в часы бороньбы
Как свиток являет глаголы судьбы, —
Читает их пахарь, с ним некто Другой,
Кто правит огнем и мужицкой душой.

Мы внуки земли и огню родичи,
Нам радостны зори и пламя свечи,
Язвит нас железо, одежд чернота,
И в памяти нашей лишь радуг цвета.

В кручине по крыльям, пригожих лицом
Мы «соколом ясным» и «павой» зовем.

Узнайте же ныне: на кровле конек
Есть знак молчаливый, что путь наш далек.

Изба — колесница, колеса — углы,
Слетят серафимы из облачной мглы,
И Русь избяная — несметный обоз! —
Вспарит на распутье взывающих гроз...

Сметутся народы, иссякнут моря,
Но будет шелками расшита заря, —
То девушки наши, в поминок векам,
Расстелют ширинки по райским лугам.

2

У розвальней — норов, в телеге же — ум,
У карего много невыржанных дум.

Их ведает стойло да дед-дворовик,
Что кажет лишь твари мерцающий лик.

За скотьей вечерней в потемках хлева,
Плачевнее ветра овечья молва.

Вздыхает каурый, как грешный мытарь:
«В лугах твоих буду ли, Отче и Царь?

Свершатся ль мои подъяремные сны,
И, взвихрен, напьюсь ли небесной волны? ..»

За конскою думой кому уследить?
Она тишиною спрядается в нить.

Из нити же время плетет невода,
Чтоб выловить жребий, что светел всегда.

Прообраз всевышних крылатых коней —
Смиренный коняга, страж жизни моей.

С ним радостней труд, благодатней посев,
И смотрит ковчегом распахнутый хлев.

Взыграет прибой, и помчится ковчег,
Под парусом ясным, как тундровый снег.

Орлом огнезобым взметнется мой конь,
И сбудется дедов дремучая сонь!

3

Звук ангелу собрат, бесплотному лучу,
И недруг топору, потемкам и сычу.
В предсмертном «ы-ы-ы! . .» таится полузвук,
Он каплей и цветком уловится, как стук.
Сорвется капля вниз, и вострепещет цвет,
Но трепет не глагол, и в срыве звука нет.

Потемки с топором и правнук ночи — сыч
В обители лесов поднимут хищный клич,

Древесной крови дух дойдет до божьих звезд,
И сирины в раю слетят с алмазных гнезд,
Но крик железа глух и тяжек, как валун,
Ему не свить гнезда в блаженной роще струн.

Над зыбкой, при свече, старуха запоет,
Дитя, как злак росу, впивает певчий мед,
Но древний рыбарь-сон, чтоб лову не скудеть,
В затоне тишины созвучьям ставит сеть.

В бору, где каждый сук — моленная свеча,
Где хвойный херувим льет чашу из луча,
Чтоб напоить того, кто голос уловил
Кормилицы мирской и пестуньи могил,
Там, отроку-цветку лобзание даря,
Я слышал, как заре откликнулась заря,
Как вспел петух громов и в вихре крыл возник,
Подобно рою звезд, многоочитый лик...

Миг выткал пелену, видение темня,
Но некая свирель томит с тех пор меня;
Я видел звука лик и музыку постиг,
Даря уста цветку, без ваших ржавых книг!

4

Где пахнет кумачом — там бабьи посиделки,
Медынью и сурьмой — девичий городок...
Как пряжа, мерен день, и солнечные белки,
Покинув райский бор, уселись на шесток.

Беседная изба — подобие вселенной:
В ней шолом — небеса, полати — Млечный Путь,
Где кормчему уму, душе многоплачевной
Под веретенный клир усладно отдохнуть.

Неизреченен дух и несказанна тайна
Двух чаш, двух свеч, шести очей и крыл!
Беседная изба на свете не случайна —
Она Судьбы лицо, преддверие могил.

Мужицкая душа, как кедр зелено-темный,
Причастье божьих рос неутолимо пьет:
О, радость — быть простым, носить кафтан
посконный
И тельник на груди, сладимей диких сот!

Индийская земля, Египет, Палестина —
Как олово в сосуд, отлились в наши сны.
Мы братья облаков, и савана холстина —
Наш верный поводырь в обитель тишины.

1916

ПОДДОННЫЙ ПСАЛОМ

Что напишу и что реку, о господи!
Как лист осиновый все писания,
Все книги и начертания:
Нет слова неприточного,
По звуку неложного, непорочного;
Тяжелы душе писанья видимые,
И железо живет в буквах библий!

О душа моя — чудище поддонное,
Стоглавое, многохвостое, тысячепудовое,
Прозри и виждь: свет брезжит!
Раскрылась лилия, что шире неба,
И колесница Зари Прощения
Гремит по камням небесным!
О ясли рождества моего,
Теплая зыбка младенчества,
Ясная келья отрочества,
Дуб, юность мою осеняющий,
Дом крепкий, пространный и убранный,
Училище красоты простой
И слова воздушного —
Как табун белых коней в тумане.
О родина моя земная, Русь бурепримная!

Ты прими поклон мой вечный, родимая,
Свечу мою, бисер слов любви неподкупной,
Как гора необхватной,
Свежительной и мягкой,
Как хвойные омуты кедрового моря!
Вижу тебя не женой, одетой в солнце,
Не схимницей, возлюбившей гроб и шорохи
часов безмолвия,
Но бабой-хозяйкой, домовитой и яснозубой,
С бедрами как суслон овсяный,
С льняным ароматом от одежды...
Тебе только тридцать три года —
Возраст Христов лебединый,
Возраст чайки озерной,
Век березы, полной ярого, сладкого сока!..
Твоя изба рудо-желта,
Крепко срублена, смольностенна,
С духом семги и меда от печи,
С балагуром-котом на лежанке
И с парчовою сказкой за пряжей.
Двор твой светл и скотинушкой тучен,
Как холстами укладка невесты;
У коров сытно-мерная жвачка,
Липки сахарно-белы удои,
Шерсть в черед с роговицей линяет,
А в глазах человеческий разум;
Тишиною вспоенные овцы
Шелковистее ветра лесного;
Сыты кони овсяной молитвой
И подкованы веры железом;
Ель Покоя жилье осеняет,
А в ветвях ее Сирин гнездится:

Учит тайнам глубинным хозяйку,
Как взмесить нежных красок опару,
Дрожжи звуков всевышних не сквасить,
Чтобы выпечь животные хлебы,
Пищу жизни, вселенское брашно...

Побывал я под чудною елью
И отведал животного хлеба,
Видел горницу с полкой божничной,
Где лежат два ключа золотые:
Первый ключ от Могущества Двери,
А другой от Ворот Воскрешенья...
Боже, сколько алчущих скрипа петель,
Взмаха створов дверных и воротных,
Миллионы веков у порога,
Как туманов полки над поморьем,
Как за полночью лед ледовитый!..

Есть моря черноводнее вара,
Липче смол и трескового клея
И недвижней стопы Саваофа:
От земли, словно искра из горна,
Как с болот цвет тресты пуховейной,
Возлетает душевное тело,
Чтоб низринуться в черные воды —
В те моря без теченья и ряби;
Бьется телю воздушное в черни,
Словно в ивовой верше лососка;
По борьбе же и смертном биенье
От души лоскутами спадает.
Дух же — светлую рыбью чешуйку,
Паутинку луча золотого —

Держит вар безмаячного моря:
Под пятой невесомой не гнется
И блуждает он, сушей болея...
Но едва материк долгожданный,
Как слеза за ресницей, забрезжит,
Дух становится сохлым скелетом,
Хрупче мела, трухлявее трута,
С серым коршуном-страхом в глазницах,
Смерть вторую нежданно вкушая.

Боже, сколько умерших миров,
Безымянных вселенских гробов!
Аз Бог Ведаю Глагол Добра —
Пять знаков чище серебра;
За ними вслед: Есть Жизнь Земли —
Три буквы — с златом корабли,
И напоследки знак Фита —
Змея без жала и хвоста...
О, боже сладостный, ужель я в малый миг
Родимой речи таинство постиг,
Прозрел, что в языке поруганном моем
Живет Синайский глас и вышний трубный гром,
Что песню мужика «Во зеленых лузях»
Создать понудил звук и тайнозренья страх?!

По Морю морей плывут корабли с золотом:
Они причалят к пристани того, кто братом зовет
Сущего,
Кто, претерпев телом своим страдание,
Всё телесное спасет от гибели
И явится Спасителем мира.

Приложитесь ко мне, братья,
К язвам рук моих и ног:
Боль духовного зачатья
Рождеством я перемог!

Он родился — цветик алый,
Долгочаемый младень:
Серый камень, сук опалый
Залазурились, как день.

Снова голубь Иорданский
Над землею воспарил:
В зыбке липовой крестьянской
Сын спасенья опочил.

Бельте, девушки, холстины,
Печь топите для ковриг:
Легче отблеска лучины
К нам слетит Архистратиг.

Пир мужицкий свят и мирен
В хлебном Спасовом раю,
Запоет на ели Сирин:
Баю-баюшки-баю.

От звезды до малой рыбки
Всё возжаждет ярых крыл,
И на скрип вселенской зыбки
Выйдут деды из могил.

Станет радуга лампадой,
Море — складнем золотым,

Горн потухнувшего ада —
Полем ораным мирским.

По тому ли хлебоборью
Мы, как изморозь весной,
Канем в Спасово поморье
Пестрядинною волной.

1916

* * *

О ели, родимые ели, —
Раздумий и ран колыбели,
Пир брачный и памятник мой,
На вашей коре отпечатки,
От губ моих жизней зачатки,
Стихов недомысленный рой.

Вы грели меня и питали,
И клятвой великой связали —
Любить Тишину-богомать.
Я верен лесному обету,
Баюкаю сердце: не сетуй,
Что жизнь как болотная гать,

Что умерли юность и мама,
И ветер расхлябанной рамой,
Как гроб забивают, стучит,
Что скуден заплаканный ужин,
И стих мой под бурей простужен,
Как осенью листья ракит, —

В нем сизо-багряные жилки
Запекшейся крови, — подпилки

И критик ее не сотрут.
Пусть давят томов Гималаи —
Ракиты рыдают о рае,
Где вечен листвы изумруд.

Пусть стол мой и лавка-кривуша —
Умершего дерева души —
Не видят ни гостя, ни чаш, —
Об Индии в русской светелке,
Где все разноверья и толки,
Поет, как струна, карандаш.

Там юных вселенных зачатки —
Лобзаний моих отпечатки —
Предстанут, как сонмы богов.
И ели, пресвитеры-ели,
В волхвующей хвойной купели
Омоют громовых сынов.

1916 (?)

БЕЛАЯ ИНДИЯ

На дне всех миров, океанов и гор
Хоронится сказка — алмазный узор,
Земли талисман, что всевышний носил
И в Глуби Глубин, наклонясь, обронил.
За ладанкой павий летал Гавриил
И тьмы громокрылых взыскующих сил, —
Обшарили адский кромешный сундук
И в Смерть открывали убийственный люк,
У Времени-скряги искали в часах,
У Месяца в ухе, у Солнца в зубах;
Увы! Схоронился «в нигде» талисман,
Как господа сердце — немолчный таран!..

Земля — Саваофовых брашен кроха,
Где люди ютятся средь терний и мха,
Нашла потеряшку и в косу вплела,
И стало Безвестное — Жизнью Села.

Земная морщина — пригорков мозоли,
За потною пашней — дубленое поле,
За полем лесок, словно зубья гребней, —
Запуталась тучка меж рябых ветвей,
И небо — Микулов бороздчатый глаз

Смежает ресницы — потемочный сказ;
Реснитчатый пух на деревню ползет —
Загадок и тайн золотой приворот.
Повыйди в потемки из хмарой избы —
И вступишь в поморье господней губы,
Увидишь Предвечность — коровой она
Уснула в пучине, не ведая дна.
Там ветер молочный поет петухом,
И Жалость мирская маячит конем,
У Жалости в гриве овечий ночлег,
Куриная пристань и отдых телег:
Сократ и Будда, Зороастр и Толстой,
Как жилы, стучатся в тележный покой.
Впусти их раздумьем — и въявь обретешь
Ковригу Вселенной и Месячный Нож —
Нарушай ломтей, и Мирская душа
Из мякиша выйдет, крылами шурша.
Таинственный ужин разделите вы,
Лишь Смерти не кличьте — печальной вдовы...

В потемки деревня — Христова брада,
Я в ней заблудиться готов навсегда,
В живом чернолесье костер разложить
И дикое сердце, как угря, варить,
Плясать на углях и себя по кускам
Зарыть под золою в поминок векам,
Чтоб Ястребу-духу досталась мета —
Как перепел алый, Христовы уста!
В них тридцать три зуба — жемчужных горы,
Язык — вертоград, железа же — юры,
Где слюнные лоси, с крестом меж рогов,
Пасутся по взгорьям иссопных лугов...

Ночная деревня — преддверие Уст...
Горбатый овин и ощеренный куст
Насельников чудных, как струны, полны...
Свершатся ль, господь, огнепальные сны!
И морем сермяжным, к печным берегам
Грома-корабли приведет ли Адам,
Чтоб лапоть мозольный, чумазый горшок
Востеплили очи — живой огонек,
И бабка Маланья, всем ранам сестра,
Повышла бы в поле ясней серебра
Навстречу Престолам, Началам, Властям,
Взывающим солнцам и трубным мирам!..

О, ладанка божья — вселенский рычаг,
Тебя повернет не железный Варяг,
Не сводня-перо, не сова-звездочет —
Пяту золотую повыглядел кот,
Колдунья-печурка, на матице сук!..
К ушам прикормить бы зиждительный Звук,
Что вяжет, как нитью, слезинку с луной
И скрип колыбели — с пучиной морской,
Возжечь бы ладони — две павьих звезды,
И Звук зачерпнуть, как пригоршню воды,
В трепещущий гром, как в стерляжий садок,
Уста окунуть и причастьем молок
Насытиться всласть, миллионы веков
Губы не срывая от звездных ковшов!..

На дне всех миров, океанов и гор
Цветет, как душа, адамантовый бор, —
Дорога к нему с Соловков на Тибет,
Чрез сердце избы, где кончается свет,

Где бабкина пряжа — пришельцу веха:
Нырни в веретенце, и нитка-леха
Тебя поведет в Золотую Орду,
Где Ангелы варят из радуг еду, —
То вещих раздумий и слов пастухи,
Они за таганом слагают стихи,
И путнику в уши, как в овчий загон,
Сгоняют отары — волхвующий звон.
Но мимо тропа, до кудельной спицы,
Где в край «Невозвратное» скачут гонцы,
Чтоб юность догнать, душегубную бровь...
Нам к бору незримому посох — любовь,
Да смертная свечка, что пахарь в перстах
Держал пред кончиной, — в ней сладостный страх
Низринуться в смоль, в адамантовый гул...
Я первенец Киса, свирельный Саул,
Искал пегоухих отцовских ослиц
И царство нашел многоценней златниц:
Оно за печуркой, под рябым горшком,
Столетия мерит хрустальным сверчком.

1916 (?)

* * *

Печные прибои пьянящи и гулки,
В рассветки, в косматый потемочный час,
Как будто из тонкой серебряной тулки
В ковши звонкогорлые цедится квас.

В полях маета, многорукая жатва,
Соленая жажда и оводный пот.
Квасных переплесков свежительна дратва,
В них раковин влага, кувшинковый мед.

И мнится за печью седое поморье,
Гусиные дали и просырь мереж...
А дед запевает о Храбром Егорье,
Склонив над иглой солодовую плешь.

Неспора починка, и стёг неуклюжий,
Да море незримое нудит иглу...
То Индия наша, таинственный ужин,
Звенящий потирами в красном углу.

Печные прибои баюкают сушу,
Смывая обиды и горестей след.
«В раю упокой Поликарпову душу», —
С лучом незабудковым шепчется дед.

1916 (?)

* * *

Под древними избами, в красном углу,
Находят распятье, алтын и иглу —
Мужицкие Веды: мы распяты все,
На жернове — мельник, косарь — на косе,
И куплены медью из оси земной,
Расшиты же звездно господней иглой.
Мы — кречетов стая, жар-птицы, орлы,
Нам явственны бури и вздохи метлы:
В метле есть душа — деревянный божок,
А в буре Илья — громогласный пророк...
У божьей иглы не измерить ушка,
Мелькает лишь нить — огневая река...
Есть пламенный лев, он в мужицких
крестцах,
И рык его чуется в ярых родах,
Когда роженичный заклятый пузырь
Мечом рассекает дитя-богатырь...
Есть черные дни — перелет воронят,
То бог за шитьем оглянулся назад —
И в душу народа вонзилась игла...
Нас манят в зенит городов купола,
В коврижных поморьях звенящий баркас
Сулится отплыть в горностаевый сказ,
И нож семьянина, ковригу деля,
Как вал ударяет о грудь корабля.

Ломоть черносошный — то парус, то руль,
Но зубы как чайки у Степ и Акуль —
Слетятся к обломкам и правят пиры...
Мы сеем и жнем до урочной поры,
Пока не привел к пестрядны́м берегам
Крылатых баркасов нетленный Адам.

1916 (?)

* * *

Шепчутся тени-слепцы:
«Я от рожденья незрячий».
— «Я же ослепла в венцы,
В солнечный пир новобрачий».

«Дед мой — бродяга-фонарь,
Матерь же — искра-гулеха...»
— «Помню я сосен янтарь,
Росные утрени моха».

«Взломщик походку мне дал,
Висельник — шею цыплячью...»
Призраки, вас я не звал
Бить в колотушку ребячью!

Висельник, сядь на скамью,
Девушке место, где пряжа.
Молвите: в божьем раю
Есть ли надпечная сажа?

Есть ли куриный Царьград,
В теплой соломе яичко,

Сказок и шорохов клад,
Кот с диковинною кличкой?

Бабкины спицы там есть,
Песье ворчанье засова? . .
В тесных вратах не пролезть
С милой вязанкой былого.

Ястреб, что смертью зовут,
Город похитил куриный,
Тени-слепцы поведут
Душу дорогою длинной.

Только ужиться ль в аду
Сердцу теплее наседки, —
В келью поэта приду
Я в золотые последки.

К кудрям пытливым склонюсь,
Тайной дохну на ресницы,
Та же бездонная Русь
Глянет с упорной страницы.

Светлому внуку незрим,
Дух мой в чернильницу канет
И через тысячу зим
Буквенным сирином станет.

1916 (?)

⟨*ИЗ ЦИКЛА «СПАС»*⟩

1

Я родился в вертепе,
В овчем теплом хлеву,
Помню синие степи
И ягнячью молву.

По отцу-древоделу
Я грущу посейчас.
Часто в горенке белой
Посещал кто-то нас, —

Гость крылатый, безвестный,
Непостижный уму, —
«Здравствуй, тятенька крестный», —
Лепетал я ему.

Гасли годы, всё реже
Чаровала волшба,
Под лесной гул и скрежет
Сиротела изба.

Стали цепче тревоги,
Нестерпимее страх,
Дьявол злой, тонконогий
Объявился в лесах.

Он списал на холстину
Ель, кремли облаков;
И познал я кончину
Громных отрочьих снов.

Лес, как призрак, заплавал,
Умер агнчий закат,
И увел меня дьявол
В смрадный, каменный ад.

Там газеты-блудницы,
Души книг, души струн...
Где ты, гость светлолицый,
Крестный мой — Гамаюн?

Взвыли грешные тени:
Он бумажный, он наш...
Но прозрел я ступени
В божий певчий шалаш.

Вновь молюсь я, как ране,
Тишине избяной,
И к шестку и к лохани
Припадаю щекой:

О, простите, примите
В рай запечный меня!

Вяжут алые нити
Зори — дщери огня.

Древодельные стружки
Точат ладанный сок,
И мурлычет в хлевушке
Гамаюнов рожок.

1916 (?)

2

Господи, опять звонят,
Вколачивают гвозди голгофские,
И тобою попранный починяют ад
Сытые кутейные московские!

О душа, невидимкой прикинься,
Притаись в ожирелых свечах,
И увидишь, как Распутин на антиминсе
Пляшет в жгучих, похотливых сапогах,

Как в потире купаются бесенята,
Надовратный голубь вороном стал,
Чтобы выклевать у тебя, распятый,
Сон ресниц и сердце-опал.

Как же бежать из преисподней,
Где стены из костей и своды из черепов?
Ведь в белых яблонях без попов
Совершается обряд господний.

Ведь пичужка с глазком васильковым
Выше библий, тиар и порфир...
Ждут пришельца в венце терновом
Ад заводский и гиблый трактир.

Он же, батюшка, в покойчике сосновом,
У горбатой Домны в гостях,
Всю деревню радует словом
О грядущих золотых мирах.

И деревня — Красная ляга —
Захмелела под звон берез...
Знать, и смертная роспита баклага
За тебя, буревестный Христос.

1916 (?)

* * *

Плач дитяти через поле и реку́,
Петушиный крик, как боль, за версты,
И паучью поступь, как тоску,
Слышу я сквозь наросты коросты.

Острупела мать сыра земля,
Загноились ландыши и арфы,
Нет Марии и вифанской Марфы
Отряхнуть пушинки с ковыля, —

Чтоб постлать Возлюбленному ложе,
Пыльный луч лозою затенить.
Распростерлось небо рваной кожей, —
Где ж игла и штопальная нить?

Род людской и шила недомыслил,
Чтоб заплатать бездну или ночь;
Он песчинки по Сахарам числил,
До цветистых выдумок охоч.

Но цветы, как время, облетели.
Пляшет сталь, и рыкает чугун.
И на дымно-закоптелой ели
Оглушенный плачет Гамаюн.

1916 или начало 1917

* * *

Я — древо, а сердце — дупло,
Где Сирина-птицы зимовье,
Поет он — и сени светло,
Умолкнет — заплачется кровью.

Пустынею глянет земля,
Золой — власяничное солнце,
И, умной листвой шевеля,
Я слушаю тяжкое донце.

То смерть за кромешным станком
Вдевает в усновище пряжу,
Чтоб выткать карающий гром —
На грешные спины поклажу.

Бередят глухие листы, —
В них оцет, анчарные соки,
Но небо затеплит кресты —
Сыновности отблеск далекий,

И птица в сердечном дупле
Заквохчет, как дрозд на отлете,
О жертвенной, красной земле,
Где камни — взалкавшие плоти.

Где Музыка в струнном шатре
Томится печалью блаженной
О древе — глубинной заре
С листвою яровчато-пенной.

Невеста, я древо твое,
В тени моей песни-олени;
Лишь браком святится жилье,
Где сиринный пух по колени.

Явися и в дебрях возляг,
Окутайся тайной громовой,
Чтоб плод мой созрел и отмяк —
Микулово, бездное слово!

1916 или начало 1917

* * *

Счастье бывает и у кошки —
Котеночек — пух медовый,
Солнопек в зализанной плошке,
Где звенит пчелой душа коровы.

Радостью полнится и рябка,
Яйцом в пеклеванной соломе,
И веселым лаем Арапка
О своей конуре — песьем доме.

Горем седеет и муха —
Одиночкой за зимней рамой...
Песнописцу в буквенное брюхо
Низвергают воды Ганг и Кама.

И, внимая трубам вод всемирных,
Рад поэт словесной бурной пене, —
То прибой, поход на ювелирных
Мастерочков рифм — собак на сене.

«Гам, гам, гам», — скулят газеты, книги,
Магазины Вольфа и Попова...

Нужны ль вам мои стихи-ковриги,
Фолиант сермяжный и сосновый?

Расцветает скука беленою
На страницах песьих, на мольбертах;
Зарождать жар-птицу, роха, сою
Я учусь у рябки, а не в Дерптах.

Нежит солнце киску и Арапку,
Прививает оспу умной твари;
Под лучами пучится, как шапка,
Мякоть мысли. Зреет гуд комарий.

Треснет тишь — бу⟨ма⟩жная скорлупка,
И стихи, как выводок фрегатов,
Вспенят глубь, где звукоцвета губка
Тянет стебель к радугам закатов...

Счастье быть коровой, мудрой кошкой,
В молоке ловить улыбки солнца...
Погрусти, мой друг, еще немножко
У земного тусклого оконца.

1916 или начало 1917

* * *

Вылез тулуп из чулана
С летних просонок горбат:
«Я у татарского хана
Был из наряда в наряд.

Полы мои из Бухáры
Род растягайный ведут,
Пазухи — пламя Сахары
В русскую стужу несут.

Помнит моя подоплека
Желтый Кашмир и Тибет,
В шкуре овечьей Востока
Теплится жертвенный свет.

Мир вам, Ипат и Ненила,
Печь с черномазым горшком!
Плеск звездотечного Нила
В шорохе слышен моем.

Я — лежебок из чулана
В избу зазимки принес...

Нилу, седым океанам
Устье — запечный Христос».

Кто несказанное чает,
Веря в тулупную мглу,
Тот наяву обретает
Индию в красном углу.

1916 или начало 1917

* * *

Где рай финифтяный и Сирин
Поет на ветке расписной,
Где Пушкин говором просвирен
Питает дух высокий свой,

Где Мей яровчатый, Никитин,
Велесов первенец Кольцов,
Туда бреду я, ликом скрытен,
Под ношей варварских стихов.

Когда сложу свою вязанку
Сосновых слов, медвежьих дум?
«К костру готовьтесь спозаранку», —
Гремел мой прадед Аввакум.

Сгореть в метельном Пустозерске
Или в чернилах утонуть?
Словопоклонник богомерзкий,
Не знаю я, где орлий путь.

Поет мне Сирин издалеча:
«Люби, и звезды над тобой

Заполыхают красным вечем,
Где сердце — колокол живой».

Набат сердечный чует Пушкин —
Предвечных сладостей поэт...
Как яблоновые макушки,
Благоухает звукоцвет.

Он в белой букве, в алой строчке,
В фазаньи пестрой запятой.
Моя душа, как мох на кочке,
Пригрета пушкинской весной.

И под лучом кудряво-смуглым
Дремуча глубь торфяников.
В мозгу же, росчерком округлым,
Станицы тянутся стихов.

1916 или начало 1917

* * *

Олений гусак сладкозвучнее Глинки,
Стерляжьи молоки Верлена нежней,
А бабкина пряжа, печные тропинки
Лучистее славы и неба святей.

Чтó небо — несытое, утлое брюхо,
Где звезды роятся глазастее сов.
Покорствуя пряхе, два Огненных Духа
Сплетают мережи на песенный лов.

Один орлеокий, с крылом лиловатым,
Пред лаптем столетним слагает свой щит,
Другой, тихосветный и схожий с закатом,
Кудельную память жезлом ворошит:

«Припомни, родная, карельского князя,
Бобровые реки и куньи леса...»
В державном граните, в палящем алмазе
Поют Алконосты и дум голоса.

Под сон-веретенце печные тропинки
Уводят в алмаз, в шамаханский узор...

Как стерлядь в прибое, так в музыке Глинки
Ныряет душа с незапамятных пор.

О, русская доля — кувшинковый волос
И вербная кожа девичьих локтей,
Есть слухи, что сердце твое раскололось,
Что умерли прялка и скрипки лаптей.

Что в куньем раю громыхает Чикаго,
И Сиринам в гнезда Париж заглянул.
Не лжет ли перо, не лукава ль бумага,
Что струнного Спаса пожрал Вельзевул?

Что бабкина пряжа скуднее Верлена,
Руслан и Людмила в клубке не живут?..
Как морж в солнопек, раздышалися стены, —
В них глубь океана, забвенье и суд.

1916 или начало 1917

⟨*ИЗ ЦИКЛА «ПОЭТУ СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ»*⟩

1

Изба — святилище земли,
С запечной тайною и раем;
По духу росной конопли
Мы сокровенное узнаем.

На грядке веников ряды —
Душа берез зеленоустых...
От звезд до луковой гряды
Всё в вещем шепоте и хрустах.

Земля, как старище-рыбак,
Сплетает облачные сети,
Чтоб уловить загробный мрак
Глухонемых тысячелетий.

Провижу я: как в верше сом,
Заплещет мгла в мужицкой длани, —
Золотобревный, Отчий дом
Засолнцевеет на поляне.

Пшеничный колос-исполин
Двор осенит целящей тенью...
Не ты ль, мой брат, жених и сын,
Укажешь путь к преображенью?

В твоих глазах дымок от хат,
Глубинный сон речного ила,
Рязанский маковый закат —
Твои певучие чернила.

Изба — питательница слов
Тебя взрастила не напрасно:
Для русских сел и городов
Ты станешь Радуницей красной.

Так не забудь запечный рай,
Где хорошо любить и плакать!
Тебе на путь, на вечный май,
Сплетаю стих — матерый лапоть.

2

У тебя, государь, новое ожерельице...

Слова убийц св. Димитрия-царевича

Елушка-сестрица,
Верба-голубица,
Я пришел до вас:
Белый цвет Сережа,
С Китоврасом схожий,
Разлюбил мой сказ!

Он пришелец дальний,
Серафим опальный,
Руки — свитки крыл.
Как к причастью звоны,
Мамины иконы,
Я его любил.

И в дали предвечной,
Светлый, трехвенечный,
Мной провиден он.
Пусть я некрасивый,
Хворый и плешивый,
Но душа как сон.

Сон живой, павлиний,
Где перловый иней
Запушил окно,
Где в углу за печью
Чародейной речью
Шепчется Оно.

Дух ли это Славы,
Город златоглавый,
Савана ли плеск?
Только шире, шире
Белизна псалтири —
Нестерпимый блеск.

Тяжко, светик, тяжко!
Вся в крови рубашка...
Где ты, Углич мой?..
Жертва Годунова,

Я в глуши еловой
Восприму покой.

Буду в хвойной митре,
Убиенный Митрий,
Почивать, забыт...
Грянет час вселенский,
И Собор Успенский
Сказку приютит.

3

Бумажный ад поглотит вас
С чернильным черным сатаною,
И бесы: Буки, Веди, Аз
Согнут построчников фитою.

До воскрешающей трубы
На вас падут, как кляксы, беды,
И промокательной судьбы
Не избежат бумагоеды.

Заместо славы будет смерть
Их костяною рифмой тешить,
На клякс-папировую жердь
Насадят лавровые плеши.

Построчный пламень во сто крат
Горючей жупела и серы.
Но книжный червь, чернильный ад
Не для певцов любви и веры.

Не для тебя, мой василек,
Смола терцин, устава клещи,
Ржаной колдующий восток
Тебе открыл земные вещи:

«Заря-котенок моет рот,
На сердце теплится лампадка».
Что мы с тобою не народ —
Одна бумажная нападка.

Мы, как Саул, искать ослиц
Пошли в родные буераки
И набрели на блеск столиц,
На ад, пылающий во мраке.

И вот, окольною тропой,
Идем с уздой и кличем: сивка!
Поют хрустальною трубой
Во мне хвоя, в тебе наливка —

Тот душегубный варенец,
Что даль рязанская сварила.
Ты — Коловратов кладенец,
Я — бора пасмурная сила.

Таран бумажный нипочем
Для адамантовой кольчуги...
О, только б странствовать вдвоем,
От Соловков и до Калуги.

Через моздокский синь-туман,
На ржанье сивки, скрип косули!..

Но есть полынный, злой дурман
В степном жалеечном Июле.

Он за курганами звенит
И по-русалочьи мурлычет:
«Будь одиноким, как зенит,
Пускай тебя ничто не кличет».

Ты отдалился от меня
За ковыли, глухие лужи...
По ржанью певчего коня
Душа курганная недужит.

И знаю я, мой горбунок
В сосновой лысине у взморья;
Уж преисподняя из строк
Трепещет хвойного Егорья.

Он возгремит, как божья рать,
Готовя ворогу расплату,
Чтоб в книжном пламени не дать
Сгореть родному Коловрату.

1916—1917

ЗАСТОЛЬНЫЙ СКАЗ

Как у нас ли на Святой Руси
Городища с пригородками,
Красны села со приселками,
Белы лебеди с лебедками,
Добры молодцы с красотками.
Как молодушки все «ай» да «не замай»,
Старичищам только пару поддавай.
Наша банища от Камы до Оки,
Горы с долами — тесовые полки,
Ковш узорчатый — озерышко Ильмень:
Святогору сладко париться не лень!

Ой вы, други, гости званые,
Сапожки на вас сафьянные,
Становой кафтан — индийская парча,
Речь орлиная смела и горяча,
Сердце-кречет рвется в поймища степей
Утиц бить да долгоносых журавлей,
Все вы бровью в соликамского бобра,
Русской совестью светлее серебра.
Изреките ж песнослову-мужику,
Где дорога к скоморошью теремку,
Где тропиночка в боярский зелен сад, —

Там под вишеньем зарыт волшебный клад —
Ключ от песни всеславянской и родной,
Что томит меня дремучею тоской...
Аль взаправду успокоился Садко,
Князь татарский с полонянкой далеко,
Призакрыл их след, как саваном, ковыль,
Источили самогуды ржа да пыль,
И не выйдет к нам царевна в жемчугах,
С речью пряничной на маковых губах?

Ой вы, други — белы соколы,
Лихо есть, да бродит около, —
Ключ от песни недалеконько зарыт —
В сердце жаркое пусть каждый постучит:
Если в сердце золотой, щемящий звон,
То царевна шлет вам солнечный поклон;
Если ж в жарком плещут весла-якоря,
То Садко наш тешит водного царя.
Русь нетленна, и погостские кресты —
Только вехи на дороге красоты!
Сердце, сердце, русской удали жилье,
На тебя ли ворог точит лезвие,
Цепь кандальную на кречета кует,
Чтоб не пело ты, как воды в ледоход,
Чтобы верба за иконой не цвела,
Не гудели на Руси колокола,
И под благовест медовый в вешний день
Не приснилось тебе озеро Ильмень,
Не вздыхало б ты от жаркой глубины:
Где вы, вещие Бояновы сыны?

‹1917›

СКАЗ ГРЯДУЩИЙ

Кабы молодцу узорчатый кафтан,
На сапожки с красной опушью сафьян,
На порты бы мухояровый камлот —
Дивовался бы на доброго народ.
Старики бы помянули старину,
Бабки — девичью, зеленую весну,
Мужики бы мне-ка воздали поклон:
«Дескать, в руку был крестьянский дивный сон,
Будто белая престольная Москва
Не опальная кручинная вдова...»
В тихом Угличе поют колокола,
Слышны клекоты победного орла:
Быть Руси в златоузорчатой парче,
Как пред образом заутренней свече!
Чтобы девичья умильная краса
Не топталась, как на травушке роса,
Чтоб румяны были зори-куличи,
Сытны варева в муравчатой печи,
Чтоб родная черносошная изба
Возглашала бы, как бранная труба:
«Солетайтесь, белы кречеты, на пир,
На честно́е рукобитие да мир!»

Буй-Тур Всеволод и Темный Василько,
С самогудами Чурило и Садко,
Александр Златокольчужный, Невский
страж,
И Микулушка — кормилец верный наш,
Радонежские Ослябя, Пересвет, —
Стяги светлые столетий и побед!
Не забыты вы народной глубиной,
Ваши облики схоронены избой,
Смольным бором, голубым березняком,
Призакрыты алым девичьим платком!..
Тише, Волга, Днепр Перунов, не гуди, —
Наших бáтырей до срока не буди!

(1917)

КРАСНАЯ ПЕСНЯ

Распахнитесь, орлиные крылья,
Бей, набат, и гремите, грома, —
Оборвалися цепи насилья,
И разрушена жизни тюрьма!

Широки черноморские степи,
Буйна Волга, Урал златоруд, —
Сгинь, кровавая плаха и цепи,
Каземат и неправедный суд!

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Пролетела над Русью Жар-птица,
Ярый гнев зажигая в груди...
Богородица наша Землица,
Вольный хлеб мужику уроди!

Сбылись думы и давние слухи,
Пробудился Народ-Святогор —

Будет мед на домашней краюхе
И на скатерти ярок узор.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Хлеб да соль, Костромич и Волынец,
Олончанин, Москвич, Сибиряк!
Наша Волюшка — божий гостинец —
Человечеству светлый маяк!

От Байкала до теплого Крыма
Расплеснется ржаной Океан...
Ослепительней риз серафима
Заревой Святогоров кафтан.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Ставьте ж свечи Мужицкому Спасу!
Знанье — брат, и наука — сестра.
Лик пшеничный с брадой солнцевласой —
Воплощенье любви и добра!

Оку Спасову сумрак несносен,
Ненавистен телец золотой;
Китеж-град, ладан Саровских сосен —
Вот наш рай вожделенный, родной.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Верьте ж, братья, за черным ненастьем
Блещет солнце — господне окно;
Чашу с кровью, всемирным причастьем,
Нам испить до конца суждено.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами,
На бой, на бой!

1917

ПЕСНЬ СОЛНЦЕНОСЦА

Три огненных дуба на пупе земном,
От них мы три желудя-солнца возьмем:
Лазоревым — облачный хворост спалим,
Павлиньим — грядущего даль озарим,
А красное солнце — мильонами рук
Подымем над миром печали и мук.
Пылающий кит взбороздит океан,
Звонарь преисподний ударит в Монблан,
То колокол наш — непомерный язык,
Из рек бечеву свил архангелов лик.
На каменный зык отзовутся миры,
И демоны выйдут из адской норы,
В потир отольются металлов пласты,
Чтоб солнца вкусили народы-Христы.
О демоны-братья, отпейте и вы
Громовых сердец, поцелуйной молвы!
Мы — рать солнценосцев на пупе земном —
Воздвигнем стобашенный, пламенный дом:
Китай и Европа, и Север и Юг
Сойдутся в чертог хороводом подруг,
Чтоб Бездну с Зенитом в одно сочетать.
Им бог — восприемник, Россия же — мать.
Из пупа вселенной три дуба растут:
Премудрость, Любовь и волхвующий Труд...

О, молот-ведун, чудотворец-верстак,
Вам ладан стиха, в сердце сорванный мак,
В ваш яростный ум, в многострунный язык
Я пчелкою-рифмой, как в улей, проник,
Дышу восковиной, медынью цветов,
Сжигающих Индий и Волжских лугов!..
Верстак — Назарет, наковальня — Немврод,
Их слил в песнозвучье родимый народ:
«Вставай, подымайся» и «Зелен мой сад» —
В кровавом окопе и в поле звучат...
«Вставай, подымайся», — старуха поет,
В потемках телега и петли ворот,
За ставнем береза и ветер в трубе
Гадают о вещей народной судьбе...

Три желудя-солнца досталися нам —
Засевный подарок взалкавшим полям:
Свобода и Равенство, Братства венец —
Живительный выгон для ярых сердец.
Тучнейте, отары голодных умов,
Прозрений телицы и кони стихов!
В лесах диких грив, звездных рун и вымян
Крылатые боги раскинут свой стан,
По струнным лугам потечет молоко,
И певчей калиткою стукнет Садко:
«Пустите Бояна — Рублевскую Русь,
Я тайной умоюсь, а песней утрусь,
Почестному пиру отвешу поклон,
Румянее яблонь и краше икон:

Здравствуешь, Волюшка-мать,
Божьей Земли благодать,

Белая Меря, Сибирь,
Ладоги хлябкая ширь!

Здравствуйте, Волхов-гусляр,
Степи Великих Бухар,
Синий моздокский туман,
Волга и Стенькин курган!

Чай стосковались по мне,
Красной поддонной весне,
Думали — злой водяник
Выщербил песенный лик?

Я же — в избе и в хлеву
Ткал золотую молву,
Сирин мне вести носил
С плах и бескрестных могил.

Рушайте ж лебедь-судьбу,
В звон осластите губу,
Киева сполох-уста
Пусть воссияют, где Мста.

Чмок городов и племен
В лике моем воплощен,
Я — песноводный жених,
Русский яровчатый стих!»

1917

* * *

Чтобы медведь пришел к порогу
И щука выплыла на зов,
Словите ворона-тревогу
В тенета солнечных стихов.

Не бойтесь хвойного бесследья,
Целуйтесь с ветром и зарей,
Сундук железного возмездья
Взломав упорною рукой.

Повыньте жалости повязку,
Сорочку белой тишины,
Переступя в льняную сказку
Запечной, отрочьей весны.

Дремля присядьте у печурки —
У материнского сосца
И под баюканье снегурки
Дождитесь вещего конца.

Потянет медом от оконца,
Паучьим лыком и дуплом,

И, весь в паучьих волоконцах,
Топтыгин рявкнет под окном.

А в киноварном озерке,
Где золотой окуний сказ,
На бессловесный окрик — зорко
Блеснет каурый щучий глаз.

1917 (?)

* * *

Мужицкий лапоть свят, свят, свят!
Взывает облако, кукушка,
И чародейнее, чем клад,
Мирская, потная полушка.

Горыныч, Сирин, Царь Кащей —
Всё явь родимая, простая,
И в онемелости вещей
Гнездится птица золотая.

В телеге туч неровный бег,
В метелке — лик метлы небесной.
Пусть черен хлеб и сумрак пег —
Есть вехи к родине безвестной.

Есть мед и хмель в насущной ржи,
За лаптевязьем дум ловитва,
«Вселися в ны и обожи» —
Медвежья умная молитва.

1917 (?)

* * *

Пушистые горностаевые зимы,
И осени глубокие, как схима.
На полатях трезво уловимы
Звезд гармошки и полет серафима.

Он повадился телке недужной
Приносить на копыто пластырь —
Всей хлевушки поводырь и пастырь
В ризе непорочно-жемчужной.

Телка ж бурая, с добрым носом
И с молочным, младенческим взором...
Кружит врачеватель альбатросом
Над избой, над лысым косогором.

В теле буйство вешних перелесков:
Под ногтями птахи гнезда вьют,
В алой пене от сердечных плесков
Осетры янтарные снуют.

И на пупе, как на гребне хаты,
Белый аист, словно в свитке пан.

На рубахе же оазисы-заплаты,
Где опалый финик и шафран,

Где араб в шатре черноткановом,
Русских звезд познав глубину,
Славит думой, говором гортанным,
Пестрядную, светлую страну.

1917 (?)

* * *

Из подвалов, из темных углов,
От машин и печей огнеглазых
Мы восстали могучей громов,
Чтоб увидеть всё небо в алмазах,
Уловить серафимов хвалы,
Причаститься из Спасовой чаши!
Наши юноши — в тучах орлы,
Звезд задумчивей девушки наши.

Город-дьявол копытами бил,
Устрашая нас каменным зевом.
У страдальческих теплых могил
Обручились мы с пламенным гневом.
Гнев повел нас на тюрьмы, дворцы,
Где на правду оковы ковались...
Не забыть, как с детями отцы
И с невестою милый прощались...

Мостовые расскажут о нас,
Камни знают кровавые были...
В золотой, победительный час
Мы сраженных орлов схоронили.

Поле Марсово — красный курган,
Храм победы и крови невинной...
На державу лазоревых стран
Мы помазаны кровью орлиной.

Конец 1917 — начало 1918

* * *

Вечер ржавой позолотой
    Красит туч изгиб.
Заболею за работой
    Под гудочный хрип.

Прибреду в подвальный угол —
    В гнилозубый рот.
Много страхов, черных пугал
    Темень приведет.

Перепутает спросонка
    Стрелка ход минут...
Убаюкайте совенка,
    Сосны, старый пруд!

Мама, дедушка Савелий,
    Лавка глаже щек...
Темень каркнет у постели:
    «Умер паренек.

По одежине — фабричный,
    Обликом — белес...»
И положат в гроб больничный
    Лавку, старый лес,

Сказку мамину — на сердце,
В изголовье — пруд.
Убиенного младенца
Ангелы возьмут.

К деду боженьке, рыдая,
Я щекой прильну:
«Там, где гарь и копоть злая,
Вырасти сосну!

Страшно, дедушка, у домны
Голубю-душе. . .»
И раздастся голос громный
В божьем шалаше:

«Полетайте, серафимы,
В преисподний дол!
Там, для пил неуязвимый,
Вырастите ствол.

Расплесните скатерть хвои,
Звезды шишек, смоль,
Чтобы праведные Нои
Утолили боль,

Чтоб от смол янтарно-пегий,
Как лесной закат,
Приютил мои ковчеги
Хвойный Арарат».

Начало 1918

* * *

В избе гармоника: «Накинув плащ с гитарой...»
А ставень дедовский провидяще грустит:
Где Сирин — красный гость, Вольга с Мемелфой
старой,
Божниц рублевский сон, и бархат ал и рыт?

«Откуля, доброхот?» —
«С Владимира-Залесска...»
— «Сгорим, о братия, телес не посрамим!..»
Махорочная гарь, из ситца занавеска,
И оспа полуслов: «Валета скозырим».

Под матицей резной (искусством позабытым)
Валеты с дамами танцуют «вальц-плезир»,
А Сирин на шестке сидит с крылом подбитым,
Щипля сусальный пух и сетуя на мир.

Кропилом дождевым смывается со ставней
Узорчатая быль про ярого Вольгу,
Лишь изредка в зрачках у вольницы недавней
Пропляшет царь морской и сгинет на бегу.

‹1918›

* * *

Я — посвященный от народа,
На мне великая печать,
И на чело свое природа
Мою приняла благодать.

Вот почему на речке-ряби,
В ракитах ветер-Алконост
Поет о Мекке и арабе,
Прозревших лик карельских звезд.

Все племена в едином слиты:
Алжир, оранжевый Бомбей
В кисете дедовском зашиты
До золотых, воскресных дней.

Есть в сивке доброе, слоновье,
И в елях финиковый шум, —
Как гость в зырянское зимовье
Приходит пестрый Эрзерум.

Китай за чайником мурлычет,
Чикаго смотрит чугуном...
Не Ярославна рано кычет
На забороле городском, —

То богоносный дух поэта
Над бурной родиной парит;
Она в громовый плащ одета,
Перековав луну на щит.

Левиафан, Молох с Ваалом —
Ее враги. Смертелен бой.
Но кроток луч над Валаамом,
Целуясь с ладожской волной.

А там, где снежную Печору
Полою застит небосклон,
В окно к тресковому помору
Стучится дед — пурговый сон.

Пусть кладенечные изломы
Врагов, как молния, разят, —
Есть на Руси живые дремы,
Невозмутимый, светлый сад.

Он в вербной слезке, в думе бабьей,
В богоявленье наяву,
И в дудке ветра об арабе,
Прозревшем Звездную Москву.

‹1918›

ТРУД

Свить сенный воз мудрее, чем создать
«Войну и мир» иль Шиллера балладу.
Бредете вы по золотому саду,
Не смея плод оброненный поднять.

В нем ключ от врат в Украшенный чертог,
Где слово — жрец, а стих — раджа алмазный,
Туда въезжают возы без дорог
С билетом: Пот и Труд многообразный.

Батрак, погонщик, плотник и кузнец
Давно бессмертны и богам причастны:
Вы оттого печальны и несчастны,
Что под ярмо не нудили крестец,

Что ваши груди, ягодицы, пятки
Не случены с киркой, с лопатой, с хомутом.
В воронку адскую стремяся без оглядки,
Вы Детство и Любовь пугаете Трудом.

Он с молотом в руках, в медвежьей дикой шкуре,
Где заблудился вихрь, тысячелетий страх,
Обвалы горные в его словах о буре,
И кедровая глубь в дремучих волосах.

‹1918›

МАТРОС

Грохочет Балтийское море,
И, пенясь в расщелинах скал,
Как лев, разъярившийся в ссоре,
Рычит набегающий вал.

Со стоном другой, подоспевший,
О каменный бьется уступ,
И лижет в камнях посиневший,
Холодный, безжизненный труп.

Недвижно лицо молодое,
Недвижен гранитный утес...
Замучен за дело святое
Безжалостно юный матрос.

Не в грозном бою с супостатом,
Не в чуждой, далекой земле —
Убит он своим же собратом,
Казнен на родном корабле.

Погиб он в борьбе за свободу,
За правду святую и честь...
Снесите же, волны, народу,
Отчизне последнюю весть.

Снесите родной деревушке
Посмертный, рыдающий стон
И матери, бедной старушке,
От павшего сына — поклон!

Рыдает холодное море,
Молчит неприветная даль,
Темна, как народное горе,
Как русская злая печаль.

Плывет полумесяц багровый
И кровью в пучине дрожит...
О, где же тот мститель суровый,
Который за кровь отомстит?

⟨1918⟩

ИЗ «КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ»

1

Пусть черен дым кровавых мятежей
И рыщет Оторопь во мраке, —
Уж отточены миллионы ножей
На вас, гробовые вурдалаки!

Вы изгрызли душу народа,
Загадили светлый божий сад,
Не будет ни ладьи, ни парохода
Для отплытья вашего в гнойный ад.

Керенками вымощенный проселок —
Ваш лукавый искариотский путь;
Христос отдохнет от терновых иголок,
И легко вздохнет народная грудь.

Сгинут кровосмесители, проститутки,
Церковные кружки и барский шик,
Будут ангелы срывать незабудки
С луговин, где был лагерь пик.

Бедуинам и желтым корейцам
Не будет запретным наш храм...
Слава мученикам и красноармейцам,
И сермяжным советским властям!

Русские юноши, девушки, отзовитесь:
Вспомните Разина и Перовскую Софию!
В львиную красную веру креститесь,
В гибели славьте невесту-Россию!

2

Жильцы гробов, проснитесь! Близок
Страшный суд
И Ангел-истребитель стоит у порога!
Ваши черные белогвардейцы умрут
За оплевание Красного бога,

За то, что гвоздиные раны России
Они посыпают толченым стеклом.
Шипят по соборам кутейные змии,
Молясь шепотком за романовский дом,

За то, чтобы снова чумазый Распутин
Плясал на иконах и в чашу плевал...
С кофейником стол, как перина, уютен
Для граждан, продавших свободу за кал.

О племя мокриц и болотных улиток!
О падаль червивая в божьем саду!
Грозой полыхает стоярусный свиток,
Пророча вам язвы и злую беду.

Хлыщи в котелках и мамаши в батистах,
С битюжьей осанкой купеческий род,
Не вам моя лира — в напевах тернистых
Пусть славится гибель и друг-пулемет!

Хвала пулемету, несытому кровью
Битюжьей породы, батистовых туш! ..
Трубят серафимы над буйною новью,
Где зреет посев струннопламенных душ.

И души цветут по родным косогорам
Малиновой кашкой, пурпурным глазком...
Боец узнается по солнечным взорам,
По алому слову с прибойным стихом.

‹1918›

⟨ВЛАДИМИРУ КИРИЛЛОВУ⟩

Твое прозвище — русский город,
Азбучно-славянский святой,
Почему же мозольный молот
Откликается в песне простой?

Или муза — котельный мастер,
С махорочной гарью губ...
Заплутает железный Гастев,
Охотясь на лунный клуб.

Приведет его тропка к избушке
На куриной, заклятой пяте;
Претят бунчуки и пушки
Великому сфинксу — красоте.

Поэзия, друг, не окурок,
Не Марат, разыгранный понаслышке.
Караван осетинских бурок
Не согреет муз в твоей книжке.

Там огонь подменен фальцовкой
И созвучья — фабричным гудком,
По проселкам строчек с веревкой
Кружится смерть за певцом.

Убегай же, Кириллов, в Кириллов,
К Кириллу — азбучному святому,
Подслушать малиновок переливы,
Припасть к неоплаканному, родному.

И когда апрельской геранью
Расцветут твои глаза и блуза,
Под оконцем стукнет к заранью
Песнокудрая девушка-муза.

‹1918›

⟨*ИЗ ЦИКЛА «ЛЕНИН»*⟩

1

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».

Мужицкая ныне земля,
И церковь — не наймит казенный,
Народный испод шевеля,
Несется глагол краснозвонный.

Нам красная молвь по уму:
В ней пламя, цветенье сафьяна, —
То Черной Неволи басму
Попрала стопа Иоанна.

Борис, златоордный мурза,
Трезвонит Иваном Великим,

А Лениным — вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам.

Есть в Смольном потемки трущоб
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.

«Куда схоронить мертвеца», —
Толкует удалых ватага...
Поземкой пылит с Коневца,
И плещется взморье-баклага.

Спросить бы у тучки, у звезд,
У зорь, что румянят ракиты...
Зловещ и пустынен погост,
Где царские бармы зарыты.

Их ворон-судьба стережет
В глухих преисподних могилах...
О чем же тоскует народ
В напевах татарско-унылых?

2

Багряного Льва предтечи
Слух-упырь и ворон-молва.
Есть Слово — змея по плечи
И схимника голова.

В поддевке синей пурговой,
В испепеляющих сапогах,
Пред троном плясало Слово
На гибель и черный страх.

По-совино́му желтоглазо
Щурилось солнце с высоты,
И, штопая саван, проказа
Сидела у врат красоты.

Царскосельские помнят липы
Окаянный хохот пурги...
Стоголовые Дарьи, Архипы
Молились Авось и Низги.

Авось и Низги — наши боги
С отмычкой, с кривым ножом,
И въехали гробные дроги
В мертвый романовский дом.

По-козьи рогат возница,
На запятках Предсмертный Час.
Это геенская страница,
Мужицкого Слова пляс!

В Багряного Льва ворота
Стучится пляшущий рок...
Книга «Ленин» — жи́ла болота,
Стихотворной Волги исток.

3

Октябрьские рассветки и сумерки
С ледовитым гайтаном зари...
Бог предзимний, пушистый Ай-кюмерки,
Запевает над чумом: фью-ри...

Хорошо в теплых пимах и малице
Слушать мысль — горностая в силке...
Не ужиться с веснянкой-комарницей
Эскимосской пустынной тоске.

Мир — не чум, не лосиное пастбище,
Есть Москва — золотая башка...
Ледяное полярное кладбище
Зацветет, голубей василька.

Лев грядет... От мамóнтовых залежей
Тянет жвачкой, молочным теплом,
Кашалоты резвятся, и плеск моржей,
Как тальянка помора «в ночном».

На поморские мхи олениха-молва
Ронит шерсть и чешуйки с рогов...
Глядь, к тресковому чуму примчалась Москва
Табунами газетных листов!

Скрежет биржи, словаки и пушечный рык,
Перед сполохом красным трепещут враги,
Но в душе осетром плещет Ленина лик,
Множа строки — морские круги.

4

Пора лебединого отлета:
Киноварно-брусничные дни,
В краснолесье рысья охота,
И у лыж обнова — ремни...

В чуме гарь, сладимость морошки,
Смоляной канатной пеньки,
На гусином сале лепешки
Из оленьей костной муки.

Сны о шхуне, песне матросов
Про «последний, решительный бой»,
У пингвинных лысых утесов
Собирались певцы гурьбой.

Океану махали флагом
(По-лопарски флаг — «юйнаши»).
Косолапым пингвинам и гагам
Примерещился Нил, камыши.

От Великого Сфинкса к тундре
Докатилась волна лучей,
И на полюсе сосны Умбрий
Приютили красных грачей.

От Печоры слоновье стадо
Потянулось на водопой...
В очаге допели цикады,
Обернулася сказка мглой.

Дымен чум, и пустынны дюны...
Только знак брусничной поры —
На скале задремали руны:
Люди с Естью, Наш, Иже, Еры.

1918

* * *

Революцию и Матерь света
В песнях возвеличим
И семирогие кометы
На пир бессмертия закличем!

Ура, осанна, — два ветра-брата
В плащах багряных трубят, поют...
Завод железный, степная хата
Из ураганов знамена ткут.

Убийца красный святей потира,
Убить — воскреснуть, и пасть — ожить...
Браду морскую, волосья мира
Коммуна-пряха спрядает в нить.

Из нитей невод сплетет Отвага,
В нем затрепещут стада веков...
На горной выси, в глуши оврага,
Цветет шиповник пурпурных слов.

Товарищ ярый, мой брат орлиный,
Вперяйся в пламя и пламя пей!..

Потемки шахты, дымок овина
Отлились в перстень яснее дней!

А ночи — вставки, в их гранях глуби
Стихов бурунных, лавинных строк...
Мы ало гибнем, прибойно любим,
Как злая клятва — любви зарок.

Как воск алтарный — мозоль на пятке,
На ярой шее — веревки след,
Пусть в Пошехонье чадят лампадки,
Пред ликом мести — лучи комет!

И лик стожарный нам кровно ясен,
В нем сны заводов, раздумье нив...
Товарищ верный, орел прекрасен,
Но ты, как буря, как жизнь, красив!

1918

* * *

Зурна на зырянской свадьбе,
В братине знойный чихирь,
У медведя в хвойной усадьбе
Гомонит кукуший псалтирь:

«Борони, Иван волосатый,
Берестяный семиглаз. . .»
Туркестан караваном ваты
Посетил глухой Арзамас.

У кобылы первенец — зебу,
На задворках — пальмовый гул.
И от гумен к новому хлебу
Ветерок шафранный пахнул.

Замесит Орина ковригу —
Квашня семнадцатый год. . .
По малину колдунью-книгу
Залучил корявый Федот.

Быть приплоду нутром в Микулу,
Речью в струны, лицом в зарю. . .

Всеплеменному внемля гулу,
Я поддонный напев творю.

И ветвятся стихи-кораллы,
Неявленные острова,
Где грядущие Калевалы
Буревые пожнут слова.

Где совьют родимые гнезда
Фламинго и журавли...
Как зерно залягу в борозды
Новобрачной, жадной земли!

1918 или 1919

ГИМН ВЕЛИКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

Мы — красные солдаты,
Священные штыки,
За трудовые хаты
Сомкнулися в полки.
От Ладоги до Волги
Взывает львиный гром...
Товарищи, недолго
Нам мериться с врагом!
Мир хижинам, война дворцам,
Цветы побед и честь борцам!
Низвергнуты короны,
Стоглавый капитал.
Рабочей обороны
Бурлит железный вал.
Он сокрушает скалы,
Пристанище акул...
Мы молоды и алы
За изгородью дул!
Мир хижинам, война дворцам,
Цветы побед и честь борцам!
Да здравствует Коммуны
Багряная звезда:
Не оборвутся струны

Певучего труда!
Да здравствуют Советы,
Социализма строй!
Орлиные рассветы
Трепещут над землей.
Мир хижинам, война дворцам,
Цветы побед и честь борцам!
С нуждой проклятой споря,
Зовет поденщик нас;
Вращают жернов горя
С Архангельском Кавказ.
Пшеница же — суставы
Да рабьи черепа...
Приводит в лагерь славы
Возмездия тропа.
Мир хижинам, война дворцам,
Цветы побед и честь борцам!
За праведные раны,
За ливень кровяной
Расплатятся тираны
Презренной головой.
Купеческие туши
И падаль по церквам,
В седых морях, на суше
Погибель злая вам!
Мир хижинам, война дворцам,
Цветы побед и честь борцам!
Мы — красные солдаты,
Всемирных бурь гонцы,
Приносим радость в хаты
И трепет во дворцы.
В пылающих заводах

Нас славят горн и пар...
Товарищи, в походах
Будь каждый смел и яр!
Мир хижинам, война дворцам,
Цветы побед и честь борцам!
Под огненное знамя
Скликайте земляков,
Кивач гуторит Каме,
Олонцу вторит Псков:
«За Землю и за Волю
Идет бесстрашных рать...»
Пускай не клянет долю
Красноармейца мать.
Мир хижинам, война дворцам,
Цветы побед и честь борцам!
На золотом пороге
Немеркнущих времен
Отпрянет ли в тревоге
Бессмертный легион?
За поединок краткий
Мы вечность обретем.
Знамен палящих складки
До солнца доплеснем!
Мир хижинам, война дворцам,
Цветы побед и честь борцам!

‹1919›

* * *

Огонь и розы на знаменах,
На ружьях маковый багрец,
В красноармейских эшелонах
Не счесть пылающих сердец!

Шиповник алый на шинелях,
В единоборстве рождена,
Цветет в кумачневых метелях
Багрянородная весна.

За вороньем погоню правя,
Парят коммуны ястреба...
О нумидийской знойной славе
Гремит пурговая труба.

Египет в снежном городишке,
В броневиках — слоновый бой...
Не уживется в душной книжке
Молотобойных песен рой.

Ура! Да здравствует коммуна!
(Строка — орлиный перелет.)

Припал к пурпуровым лагунам
Родной возжаждавший народ.

Не потому ль багрец и розы
Заполовели на штыках,
И с нумидийским тигром козы
Резвятся в яростных стихах!

‹1919›

ЛОВЦЫ

Скалы — мозоли земли,
Волны — ловецкие жилы.
Ваши черны корабли,
Путь до бесславной могилы.

Наш буреломен баркас,
В вымпеле солнце гнездится,
Груз — огнезарый атлас —
Брачному миру рядиться.

Спрут и морской однозуб
Стали бесстрашных добычей.
Дали, прибрежный уступ
Помнят кровавый обычай:

С рубки низринуть раба
В снедь брюхоротым акулам...
Наша ли, братья, судьба
Ввериться пушечным дулам!

В вымпеле солнце-орел
Вывело красную стаю;

Мачты почуяли мол,
Снасти — причальную сваю.

Скоро родной материк
Ветром борта поцелует;
Будет ничтожный — велик,
Нищий в венке запирует.

Светлый восстанет певец,
Звукам прибоем научен,
И не изранит сердец
Скрип стихотворных уключин.

‹1919›

КРАСНЫЕ НЕЗАБУДКИ

Незабудки в крови малютки,
На лесной сосновой тропе,
Багровеют круглые сутки,
Как роса на житном снопе.

В Заонежье, в узорных Ки́жах,
Где рублевский нетленный сад,
Стальноклювый гость из Парижа
Совершает черный обряд.

И малиновка, малая птаха,
По Голгофе Христу родня,
Умирает в гнезде от страха,
От язвящих пуль и огня.

У речной пугливой герани
В сердцевине кровоподтек,
Пулеметные злые длани
Верезжащих ловят сорок.

И стрекочут пули-сороки
В хвойной зыби, в лесных лугах,

Истекли кровавые сроки
На всемирных тяжких часах.

Незабудки в росе багровой
(Серафимов на казнь вели),
И родное, громное слово
Журавлями стонет вдали.

‹1919›

* * *

Чернильные будни в комиссариате,
На плакате продрог солдат,
И в папахе, в штанах на вате,
Желто-грязен зимний закат.

Завтра поминальный день —
Память расстрелянных рабочих...
Расцветет ли в сердцах сирень
У живых, до ран неохочих?

Расплетут ли девушки косы,
Старцы воссядут ли у ворот,
Светорунные мериносы
Сойдутся ль у чермных вод?

Дохнет ли вертоград изюмом,
Банановой похлебкой очаг?..
Вторя смертельным думам,
Реет советский флаг.

Как будто Фрегат багряный
Отплывает в безвестный край...

Восшумят в печурке платаны,
На шесток взлетит попугай.

И раджа на слоне священном
Посетит зырянский овин.
Из ковриги цветом нетленным
Взрастет златоствольный крин.

Вспыхнет закат-папаха,
Озарит потемки чернил,
И лагунной музыкой Баха
Зажурчит безмолвье могил.

⟨1919⟩

* * *

Братья, мы забыли подснежник,
На проталинке снегиря,
Непролазный, мертвый валежник
Прославляют поэты зря!

Хороши заводские трубы,
Многохоботный маховик,
Но всевластней отрочьи губы,
Где живет исступленья крик.

Но победней юноши пятка,
Рощи глаз, где лешачий дед.
Ненавистна борцу лампадка,
Филаретовских риз глазет!

Полюбить гудки, кривошипы —
Снегиря и травку презреть...
Осыпают церковные липы
Листопадную рыжую медь.

И на сердце свеча и просфорка,
Бересклет, где щебечет снегирь.

Есть Купало и Красная горка,
Сыропустная блинная ширь.

Есть Россия в багдадском монисто,
С бедуинским изломом бровей...
Мы забыли про цветик душистый
На груди колыбельных полей.

‹1919›

* * *

Блузник, сапожным ножом
Раздирающий лик Мадонны, —
Это, в тумане ночном,
Достоевского крик бездонный.

И ныряет, аукает крик —
Черноперый, колдующий петел,
Неневестной матери лик
Предстает нерушимо светел.

Безобиден горлинка-нож
В золотой, коврижной потребе.
Колосится зарная рожь
На валдайском ямщицком небе.

И звенит Достоевского боль
Бубенцом плакучим, поддужным...
Глядь, кабацкая русская голь,
Как Мадонна, в венце жемчужном!

Только буйственна львенок-брада,
Ястребята — всезрящие очи...

Стали камни, огонь и вода
До пурпуровых сказок охочи.

И волхвующий сказочник я,
На устах огневейные страны. . .
Достоевского боль, как ладья,
Уплывает в ночные туманы.

‹1919›

* * *

Маяковскому грезится гудок над Зимним,
А мне — журавлиный перелет и кот на лежанке.
Брат мой несчастный, будь гостеприимным:
За окном лесные сумерки, совиные зарянки!

Тебе ненавистна моя рубаха,
Распутинские сапоги с набором, —
В них жаворонки и грусть монаха
О белых птицах над морским простором.

В каблуке в моем — терем Кащеев,
Соловей-разбойник поныне, —
Проедет ли Маркони, Менделеев,
Всяк оставит свой мозг на тыне.

Всякий станет песней в ночевке,
Под свист костра, над излучиной сивой;
Заблудиться в моей поддевке
«Изобразительным искусствам» не диво.

В ней двенадцать швов, как в году високосном,
Солноповороты, голубые пролетья,

На опушке по сафьяновым соснам
Прыгают дятлы и белки — столетья.

Иглокожим, головоногим претят смоль
и черника,
Тетеревиные токи в дремучих строчках.
Свете тихий от народного лика
Опочил на моих запятых и точках.

Простой, как мычание, и облаком
в штанах казинетовых
Не станет Россия — так вещает Изба.
От мереж осетровых и кетовых
Всплески рифм и стихов ворожба.

Песнотворцу ль радеть о кранах подъемных,
Прикармливать воронов — стоны молота?
Только в думах поддонных, в сердечных домнах
Выплавится жизни багряное золото.

‹1919›

* * *

В заборной щели солнышка кусок —
Стихов веретено, влюбленности исток,
И мертвых кашек в воздухе дымок...
Оранжевый сентябрь плетет земле венок.

Предзимняя душа, как тундровый олень,
Стремится к полюсу, где льдов седая лень,
Где ледовитый дуб возносит сполох-сень,
И эскимоска-ночь укачивает день.

В моржовой зыбке светлое дитя
До мамушки-зари прижухнуло, грустя...
Позёмок-дед, ягельником хрустя,
За чумом бродит, ежась и кряхтя.

Душа-олень летит в алмаз и лед,
Где время с гарпуном, миров стерляжий ход,
Чтобы закликать май, гусиный перелет,
И в поле, как стихи, суслонный хоровод.

В заборной щели солнечный глазок
Глядит в овраг души, где слезка-ручеек
Звенит украдкою меж галек — серых строк,
Что умерла любовь и нежный май истек.

‹1919›

* * *

Брезг самоварной решетки
В избяной лиловатой мгле —
Провозвестник, что вечер кроткий
Гостит на трудной земле.

Что твердь починила дыры —
Пастбище стад дождевых.
Живоносных капелей клиры
Поют о солнцах ржаных.

Я верю флейтам капелей,
Кукушьим лесным словам, —
Золотой пирог новоселий
Испечет Багряный Адам.

Над избой взрастут баобабы,
Приютит хлевушка тигрят,
За тресковой ухой арабы
Поведут пустынный обряд.

Часослов с палящим Кораном
Поцелуйно сольют листы,

И прискачет к хвойным зырянам
Огневой Трубач Красоты.

Улыбнутся вигваму чумы,
Тамаринду — семья ракит,
Журавлями русские думы
Взбороздят Таити зенит.

Расцветет калачная Пресня
Левандою, купиной,
И моя сермяжная песня
Зазвенит чеченской зурной.

1919 или 1920

* * *

Сергею Есенину

В степи чумацкая зола —
Твой стих, гордынею остужен;
Из мыловарного котла
Тебе не выловить жемчужин.

И груз «Кобыльих кораблей» —
Обломки рифм, хромые стопы.
Не с Коловратовых полей
В твоем венке гелиотропы, —

Их поливал Мариенгоф
Кофейной гущей с никотином...
От оклеветанных голгоф —
Тропа к иудиным осинам.

Скорбит Рязанская земля,
Седея просом и гречихой,
Что, соловьиный сад трепля,
Парит есенинское лихо.

Оно как стая воронят
С нечистым граем, с жадным зобом,

И опадает песни сад
Над материнским строгим гробом.

В гробу пречистые персты,
Лапотцы с посохом железным, —
Имажинистские цветы
Претят очам многоболезным.

Словесный брат, внемли, внемли
Стихам — берестяным оленям:
Олонецкие журавли
Христосуются с «Голубенем».

«Трерядница» и «Песнослов» —
Садко с зеленой водяницей,
Не счесть певучих жемчугов
На нашем детище — странице.

Супруги мы. . . В живых веках
Заколосится наше семя,
И вспомнит нас младое племя
На песнотворческих пирах.

1920 (?)

* * *

Древний новгородский ветер,
Пахнущий колокольной медью и дымом
бурлацких костров,
Таится в урочищах песен,
В дуплах межстрочных,
В дремучих потемках стихов.

Думы — олонецкие сосны
С киноварной мякотью коры,
С тульёй от шапки Ивана-царевича
на макушке,
С шумом гусиного перелета,
С плеском окуньим в излуке ветвей —
Живут в моих книгах до вечной поры.
Бобры за постройкой плотины,
Куницы на слежке тетерьей
И синие прошвы от лыж
К мироварнице — келье пустынной,
Где Ярые Очи зырянский Исус
С радельной рубахой на грядке —
Вот мое сердце, и знанье, и путь.

В стране холмогорской, в нерпячьем снегу,
Под старым тресковым карбасом,

Нашел я поющий, берестяный след
От лаптя, что сплел Ломоносов:
Горящую пятку змея стерегла,
Подследье ж орлы-рыбогоны,
И пять кашалотов в поморье перстов
Познанья Скалу сторожили.

Я пламенем мозга змею прикормил,
Орлов — песнокрылою мыслью,
Пяти кашалотам дал зренье и слух,
Чутье с осязаньем и вкусом, —
Разверзлась пучина, к Познанья Скале
Лазоревый мост обнажая.
Кто раз заглянул в ягеля моих глаз,
В полесье ресниц и межбровья,
Тот видел чертог, где берестяный Спас
Лобзает шафранного Браму,
Где бабья слезинка, созвездием став,
В Медину ведет караваны
И солнце Таити — суропный калач —
Почило на пудожском блюде.

Запечную сказку, тресковую рябь,
Луну в толоконном лукошке,
У парня в серьге талисманный Памир,
В лучине — кометное пламя,
Тюрбан Магомета в старушьем чепце,
Карнак в черемисской божнице —
Всё ведает сердце и глаз-изумруд
В зеленые неводы ловит.
Улов непомерный на строчек шесты
Развесила пестунья-память.

Зубатку с кораллом, с дельфином треску,
Архангельский говор с халдейским,
И вышла поэма — ферганский базар
Под сенью карельских погостов.
Пиджачный читатель скупает товар,
Амбары рассудка бездонны,
И звездную тайну страницей зовет,
Стихами жрецов гороскопы.
Ему невдомек что мой глаз-изумруд —
Зеленое пастбище жизни.

(1921)

* * *

Свет неприкосновенный, свет неприступный
Опочил на родной земле...
Уродился ячмень звездистый и крупный,
Румяный картофель пляшет в котле.

Облизан горшок белокурым Васяткой,
В нем прыгает белка — лесной солнцепек,
И пленники — грызь, маета с лихорадкой
Завязаны в бабкин заклятый платок.

Не кашляет хворь на счастливых задворках,
Пуста караулка, и умер затвор.
Чтоб сумерки выткать, в алмазных оборках
Уселась заря на пуховый бугор.

Покинула гроб долгожданная мама,
В улыбке — предвечность, напевы в перстах...
Треух — у тунгуза, у бура — панама,
Но брезжит одно в просветленных зрачках:

Повыковать плуг — сошники Гималаи,
Чтоб чрево земное до ада вспахать,

Леха за Олонцем, оглобли в Китае,
То свет неприступный — бессмертья печать.

Васятку в луче с духовидицей-печкой,
Я ведаю, минет карающий плуг,
Чтоб взрóстил не меч с сарацинской насечкой —
Удобренный ранами песенный луг.

‹1921›

* * *

У соседа дочурка с косичкой —
Голубенький цветик подснежный.
Громыхает, влекомо привычкой,
Перо, словно кузов тележный.

На пути колеи, ухабы,
Недозвучья — коровьи мухи.
Стихотворные дали рябы,
И гнусавы рифмы-старухи.

Ах, усладней бы цветик-дочка,
Жена в родильных веснушках!
Свернулась гадюкою точка,
Ни зги в построчных макушках.

Громыхает перо — телега
По буквам — тряским ухабам...
Медвежья хвойная нега —
Внимать заонежским бабам.

В них вече и Вольгова домбра,
Теремов слюдяные потемки...

Щекочет бесенок ребра
У соседа — рыжего Фомки.

Оттого и дочка с косичкой,
Перина, жена в веснушках.
Принижен гения кличкой,
Я крот в певучих гнилушках.

⟨1921⟩

* * *

Придет караван с шафраном,
С шелками и бирюзой,
Ступая по нашим ранам,
По отмели кровяной.

И верблюжьи тяжкие пятки
Умерят древнюю боль,
Прольются снежные святки
В ночную арабскую смоль.

Сойдутся вятич в тюрбане,
Поморка в тунисской чадре,
В незакатном новом Харране,
На гор лучезарной горе.

Переломит Каин дубину
Для жертвенного костра,
И затопит земную долину
Пылающая гора.

Города журавьей станицей
Взбороздят небесную грудь,

Повенец с лимонною Ниццей
Укажут отлетный путь.

И не будет песен про молот,
Про невидящий маховик,
Над Сахарою смугло-золот
Прозябнет России лик.

В шафранных зрачках караваны
С шелками и бирюзой,
И дремучи косы-платаны,
Целованные грозой.

‹1921›

ГИТАРНАЯ

Вырастает и на теле лебеда,
С невидимкой шепелявя и шурша,
Это чалая колдунья-борода —
Знак, что вызрела полосынька-душа,

Что, как брага, яры сопки в бороздах,
Ярче просини улыбок васильки...
Говорят, Купало пляшет в бородах,
А в моей гнездятся вороны тоски.

Грают темные: «Подруга седина,
Допрядай мою печальную кудель!
Уж как нашему хозяину жена
В новой горнице сготовила постель».

За оконцем, оступаясь и ворча,
Бродит с заступом могильщик-нелюдим...
Тих мой угол, и лежанка горяча,
Старый Васька покумился с домовым.

Неудача верезжит глухой беде:
«Будь, сестрица, с вороньем настороже...»
Глянь, слезинка расцвела на бороде —
Василек на жаворонковой меже!

‹1925›

БОГАТЫРКА

Моя родная богатырка —
Сестра в досуге и в борьбе,
Недаром огненная стирка
Прошла булатом по тебе!

Стирал тебя Колчак в Сибири
Братоубийственным штыком
И голод на поволжской шири
Костлявым гладил утюгом.

Старуха мурманская вьюга,
Ворча, крахмалила испод,
Чтоб от Алтая и до Буга
Взыграл железный ледоход.

Ты мой чумазый осьмилеток,
Пропахший потом боевым,
Тебе венок из лучших веток
Плетут Вайгач и теплый Крым.

Мне двадцать пять, крут подбородок,
И бровь моздокских ямщиков,

Гнездится красный зимородок
Под карим бархатом усов.

В лихом бою, над зыбкой в хате,
За яровою бороздой,
Я помню о суконном брате
С неодолимою звездой.

В груди в виске ли будет дырка —
Ее напевом не заткнешь...
Моя родная богатырка,
С тобой и в смерти я пригож!

Лишь станут пасмурнее брови,
Суровее твоя звезда...
У богатырских изголовий
Шумит степная лебеда.

И улыбаются курганы
Из-под отеческих усов
На ослепительные раны
Прекрасных внуков и сынов.

Декабрь 1925

НОВЫЕ ПЕСНИ

1

ЛЕНИНГРАД

В излуке Балтийского моря,
Где невские волны шумят,
С косматыми тучами споря,
Стоит богатырь — Ленинград.

Зимой на нем снежные латы,
Метель голубая в усах,
Запутался месяц щербатый
В карельских густых волосах.

Румянит мороз ему щеки,
И ладожский ветер поет,
О том, что апрель светлоокий
Ломает по заводям лед,

Что скоро сирень на бульваре
Оденет лиловую шаль
И сладко в матросской гитаре
Заноет горячий «Трансваль».

Когда же заря молодая
Багряное вздует горно —
Великое Первое мая
В рабочее стукнет окно.

Взвалив себе на спину трубы,
На площади выйдет завод,
За ним Комсомол краснозубый —
Республики пламенный мед.

И Армии Красной колонны,
Наш флот — океану собрат —
Пучиной стальной, непреклонной
На Марсово поле спешат.

Там дремлют в суровом покое
Товарищей подвиг и труд,
И с яркой гвоздикой левкои
Из ран благородных растут.

Плющом Володарского речи
Обвили могильный гранит...
Печаль об ушедших далече,
Как шум придорожных ракит.

Люблю Ленинград в богатырке
На каменном тяжком коне;
Пускай у луны-поводырки
Мильоны сестер в вышине, —

Звезда Октября величавей
Стожаров и гордых комет...
Шлет Ладога смуглой Мораве
С гусиной станицей привет.

И слушает Рим семихолмный,
Египет в пустынной пыли,
Как плавят рабочие домны
Упорную печень земли,

Как с волчьей метелицей споря,
По-лоцмански зорко лобат,
У лысины хмурого моря
Стоит богатырь Ленинград.

Гудят ему волны о крае,
Где юность и Мая краса,
И ветер лапландский вздувает
В гранитных зрачках паруса.

‹1926›

2

ЗАСТОЛЬНАЯ

Мои застольные стихи
Свежей подснежников и хмеля.
Знать, недалеко до апреля,
Когда цветут лесные мхи...
Мои подснежные стихи.

Не говори, что ночь темна,
Что дик и взмылен конь метели,
И наш малютка в колыбели
Не встрепенется ото сна...
Не говори, что жизнь темна!

О, позабудь глухие дни,
Подвал обглоданный и нищий.
Взгляни, дорога и кладбище
В сосновой нежатся тени...
О. позабудь глухие дни!

Наш мальчуган, как ручеек,
Журчит и вьется медуницей,
И красным галстуком гордится —
Октябрьский яростный дичок ..
Наш мальчуган, как ручеек!

Ах, в сердце ноет, как вино,
Стрела семнадцатого года,
Когда весельем ледохода

Пахнуло в девичье окно...
Ах, сердце — лютое вино!

Не говори, моя Сусанна,
Что мы старей на восемь лет,
Что оплешивел твой поэт
От революции изъяна...
Не опускай ресниц, Сусанна!

В твою серебряную свадьбу,
У обветшалых клавесин,
Тебе споет красавец сын
Не про Татьянину усадьбу —

Про годы бурь и славных ран,
Про человеческие муки,
Когда как бор шумели руки,
Расплескивая океан...
Наш сын — усатый мальчуган!

Друзья, прибой гудит в бокалах
За трудовые хлеб и соль,
Пускай уйдет старуха-боль
В своих дырявых покрывалах...
Друзья, прибой гудит в бокалах!

Нам труд — широкоплечий брат
Украсил пир простой гвоздикой,
Чтоб в нашей радости великой
Как знамя рдел октябрьский сад...
Нам труд — широкоплечий брат.

Чу! Неспроста напев звучит
Подоблачной орлиной дракой
И крыльями в бессильном мраке
Взлетают волны на гранит, —
Орлиный мир, то знает всякий,
Нам жизнь в грядущем подарит!

(1926)

* * *

Я кузнец Вавила,
Кличка — Железня,
Рудовая сила
В жилах у меня!

По мозольной блузе
Всяк дознать охоч:
Сын-красавец в вузе,
В комсомоле дочь.

Младший пионером —
Красногубый мак...
Дедам-староверам
Лапти да армяк.

Ленинцам негожи
Посох и брада,
Выбродили дрожжи
Вольного труда.

Будет и коврига —
Пламенный испод...

С наковальней книга
Водят хоровод.

Глядь, и молот бравый
Заодно с серпом,
Золотые павы
Плещут над горном.

Всё звончей, напевней
Трудовые сны,
Радости деревни
Лениным красны.

Он глядит зарницей
В продухи берез:
На гумне сторицей
Сыченый овес.

Труд забыл засухи
В зелени ракит,
Трактор стальнобрюхий
На задворках спит.

И над всем, что мило
Ярому вождю,
Я — кузнец Вавила —
С молотом стою.

‹1926›

ДРУЖБА

Вятичи не любят сапог,
Подавай им батюшку-лапоть.
Пермякам же Степанко-бог
Не устанет сусалом капать.

Черемисины с белой чудью
Косоглазят на картузы.
По российскому разнолюдью
Не дивятся ковшу бузы.

Буза — степенная баба
С сапом, храпом и с потом тож...
Хороши на Волыни грабы,
Но милей васильковая рожь.

А жаворонки утром сизым,
К ромашке клеверный пыл...
Милый друг, удерем к киргизам
Доить пятнастых кобыл.

Устелю я ковром кибитку,
Разолью по чашке кумыс,

Как невесту, баранью лытку
Наряжу в укроп и анис.

Заживем мы с тобой на славу,
Два лица, а душа одна.
Голубою неслышной павой
На кибитку слетит луна, —

Подивиться на праздник дружбы —
На пунцовый клеверный пыл.
Людям грустно, они так чужды
Золотому ржанью кобыл.

1926

КОРАБЕЛЬЩИКИ

Мы корабельщики-поэты,
В водовороты влюблены,
Стремим на шквалы и кометы
Неукротимые челны.

И у руля, презрев пучины,
Мы атлантическим стихом
Перед избушкой две рябины
За вьюгою не воспоем.

Чтó рóмантические ямбы —
Осиный гуд бумажных сот,
Когда у крепкогрудой дамбы
Орет к отплытью пароход!

Познав веселье парохода
Баюкать песни и тюки,
Мы жаждем львиного приплода
От поэтической строки.

Напевный лев (он в чермной хмаре)
Взревет с пылающих страниц —

О том, как русский пролетарий
Взнуздал багряных кобылиц,

Как убаюкал на ладони
Грозовый Ленин боль земли,
Чтоб ослепительные кони
Луга беззимние нашли, —

Там, как стихи, павлиноцветы,
Гремучий лютик, звездный зев...
Мы — китобойцы и поэты —
Взбурлили парусом напев.

И, вея кедром, росным пухом
На скрип словесного руля,
Поводит мамонтовым ухом
Недоуменная земля!

1926 или 1927

ЮНОСТЬ

Мой красный галстук так хорош,
Я на гвоздику в нем похож, —
Гвоздика — радостный цветок
Тому, кто старости далек
И у кого на юной шее,
Весенних яблонь розовее,
Горит малиновый платок.
Гвоздика — яростный цветок!

Мой буйный галстук — стая птиц,
Багряных зябликов, синиц,
Поет с весною заодно,
Что парус вьюг упал на дно,
Во мглу скрипучего баркаса,
Что синь небесного атласа
Не раздерут клыки зарниц.
Мой рдяный галстук— стая птиц!

Пусть ворон каркает в ночи,
Ворчат овражные ключи
И волк выходит на опушку, —
Козлятами в свою хлевушку
Загнал я песни и лучи...
Пусть в темень ухают сычи!

Любимый мир — суровый дуб
И бора пихтовый тулуп,
Отары, буйволы в сто пуд
В лучах зрачков моих живут,
Моим румянцем под горой
Цветет шиповник молодой,
И крепкогрудая скала
Упорство мышц моих взяла!

Мой галстук с зябликами схож,
Румян от яблонных порош,
От рдяных листьев Октября
И от тебя, моя заря,
Что над родимою страной
Вздымаешь молот золотой!

‹1927›

ВЕЧЕР

Помню на задворках солнопек,
Сивку, мухояровую телку,
За белесой речкою рожок:
«Ту-ру-ру, не дам ягненка волку!»

Волк в лесу косматом и седом,
На полянке ж смолки, незабудки.
Дома загадали о Гришутке
Теплый блин да крынка с молоком.

Малец блин, а крынка, что девчонка,
Вся в слезах, из глины рябый нос...
Глядь, ведет сохатая буренка
Золотое стадо через мост!

Эка зарь, и голубень, и просинь,
Празелень, березовая ярь!
Под коровье треньканье на плесе
Завертится месячный кубарь.

Месяц, месяц — селезень зобатый,
Окунись, как в плесо, в глыбкий стих!

Над строкою ивой бородатой
Никну я в просонках голубых.

Вижу мухояровую телку,
На задворках мглицу — шапку сна,
А костлявый гость в дверную щелку
Пялит глаз, как сом с речного дна.

От косы ложится на страницы,
На луга стихов кривая тень...
Здравствуй, вечер, сумерек кошницы,
Холод рук и синяя сирень!

‹1927›

* * *

Вернуться с оленьего извоза,
С бубенцами, с пургой в рукавицах,
К печным солодовым грозам,
К ржаным и щаным зарницам.

К черемухе белой — женке,
К дитяти — свежей поляны.
Овчинные жаворонки
Поют, горласты и рьяны.

За трапезой гость пречудный —
Сермяжное солнце в крыльях...
Почил перезвон погудный
На Прохорах и Васильях.

С того ль у Маланьи груди
Брыкасты, как оленята?
В лапотном лыковом гуде
Есть мед и мучная сата.

Вскисайте же, хлебные недра —
Микуловы отчие жилы!

Потемки и празелень кедра
Зареют в зрачках у Вавилы.

И крыльями плещет София —
Орлица запечных ущелий,
То вещая пряха — Россия
Прялет бубенцы и метели.

(1928)

* * *

Баюкало тебя райское древо
Птицей самоцветною — девой,
Ублажала ты песней царя Давида,
Он же гуслями вторил взрыдам.
Таково пресладостно пелось в роще,
Где ручей поцелуями ропщет,
Виноградье да яхонты-дули,
И проснулась ты в русском июле.
Что за края, лесная округа?
Отвечают: Рязань да Калуга!
Протерла ты глазыньки рукавом кисейным.
Видишь: яблоня в плату златовейном!
Поплакала с сестрицей, пожурилась
Да и пошла белицей на клирос.
Таяла, как свеченька, полыхая веждой,
И прослыла в людях Обуховой Надеждой
А мы, холуи, зенки пялим,
Не видим, что Сирин в бархатном зале,
Что сердце райское под белым тюлем
Обожжено грозовым июлем,
Лесными пожарами, гладом да мором,
Кручинится по синим небесным озерам —
То Любашей в «Царской невесте»,
То Марфой в огненном благовестье.

А мы, холуи, зенки пялим,
Не видим крыл в заревом опале,
Не слышим гуслей царя Давида
За дымом да слезами горькой панихиды.
Пропой нам, сестрица, кого погребаем
В Костромском да Рязанском крае?
И ответствует нам краса Любаша:
Это русская долюшка наша,
    Голова на коле,
    Косоньки в петле,
    Перстенек на
    Хвалынском дне.
        Аминь.

1931 или 1932

⟨*ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ ИЗ КОЛХОЗА»*⟩

1

Саратовский косой закат —
Киргиз в дубленом малахае...
В каком неведомом Китае
Цветет овечий карий сад?!

Под мериносовым закатом
За голубым полынным скатом
Пастушеской иглой киргиз
Сшивает малахай из лис.

Бреду соломенной деревней, —
Вон ком земли, седой и древний,
Читает вести про Китай.
«Здорово, дед!» — «Здорово, милай!..»
Не одолеет и могила
Золотогрудый каравай!

Порхает в строчках попугай
И веет ветер Индостана, —
То львиная целится рана —
Твоя, мой серый Парагвай!

Но эта серость, соль, сермяга,
Как в зной ручей на дне оврага,
Который год пленяют нас!
То, окунув в струи копытца,
Не может сказке надивиться
Родной овечий Китоврас!

2

В ударной бригаде был сокол Иван,
Артемий беркут, буревестник Степан,
Привольные птицы земле не в изъян!

За пот трудовой подарил им колхоз
Прибоем пшеницу, пучиной овес
С горою гречихи и розовых прос!

Дозорным орлам похвала не нужна, —
Зажмурилось солнце, глазеет луна,
Что в золоте хлебном родная страна!

У девушек наших пшеничный загар, —
Залить только песней вишневый пожар,
Но ждет и орленка нещадный удар!

Шептались березы под мягкой луной,
И перепел тренькал за дымкой ночной.
Кто не был влюбленным пролетной порой?!

Как в смуглые борозды житный суслон,
Красавец Иван в Катерину влюблен,
Под лунной березкой задумался он!

Республики дети суровы на вид,
Но сердце улыбкой и счастьем звенит
От меда стогов и похмелья ракит!

Таков крепкогрудый и юный Иван...
Но что это? Выстрел прорезал туман!..
Кровавою брагой упился бурьян!

Погасла луна, и содрóгнулась мгла, —
Коварная пуля сразила орла,
Он руки раскинул — два сизых крыла!

Зловещую ночь не забудет колхоз!..
Под плач перепелок желтеет овес,
Одна Катерина чужая для слез.

Она лишь по брови надвинула плат,
И доит буренок, и холит телят,
Уж в роще синицей свистит листопад.

Отпраздновал осень на славу колхоз,
И прозван «Орлиным» за буйный покос,
За море пшеницы и розовых прос!

В ударной бригаде был сокол Иван.
Он крылья раскинул в октябрьский туман,
Где бури да ливни косые!

Где, вьюгой на саван спрядая кудель,
В болота глядится недужная ель —
В былое былая Россия!

3

В алых бусах из вишен,
Из антоновки рўдой
Ходит кто-то запрудой, —
Над Байкалом и Сўдой
Шаг серебряный слышен:

«Я — смуглянка Октябрина,
У меня полна корзина:
Львиный зев и ноготки —
Искрометные венки!

Но кому цветы подаришь
Без весенней нежной яри,
Незабудок, бледных роз?
Понесу цветы в колхоз!

Там сегодня именины —
Небывалые отжины,

Океан каленых щей
Ждет прилета лебедей!

И летят несметной силой
От соломенного Нила,
От ячменных островов
Стаи праздничных снопов!

Заплету снопу-бородушку —
Помянуть лихую долюшку:
«Нивка, нивка,
Отдай мою силку!»

Слава, кто костями лег
За матерый братский стог!
Лист кленовый, тучно-ал,
Кроет Су́ду и Урал.

Это вещие пороши,
Мой пригожий, мой хороший,
Из колхоза суженый,
Зазывает ужинать,
Подивиться морю щей,
С плеском ложек-лебедей!

Слава лебедю алому,
Всем горам с перевалами,
Петуху с наседками,
Молодице с детками!

Дружным дедам, добрым бабам
От Алтая и до Лабы,
До пшеничных берегов
Короб песен и цветов!»

‹1932›

* * *

Когда осыпаются липы
В раскосый и рыжий закат,
И кличет хозяйка «цып, цыпы»
Осенних зобастых курят,
На грядках лысато и пусто,
Вдовеет в полях борозда,
Лишь пузом упругим капуста,
Как баба обновкой, горда.
Ненастна воронья губернья,
Ущербные листья — гроши.
Тогда предстают непомерней
Глухие проселки души.
Мерещится странником голос,
Под вьюгой без верной клюки,
И сердце в слезах раскололось
Дуплистой ветлой у реки.
Ненастье и косит, и губит
На кляче ребрастой верхом,
И в дедовском кондовом срубе
Беда покумилась с котом.
Кошачье «мяу» в половицах,
Простужена старая печь.

В былое ли внуку укрыться
Иль в новое мышкой утечь?!
Там лета грозóвые кони,
Тучны золотые овсы...
Согреть бы, как душу, ладони
Пожаром девичьей косы.

Между 1929 и 1932 (?)

* * *

По жизни радуйтесь со мной,
Сестра буренка, друг гнедой,
Что стойло радугой цветет.
В подойнике лучистый мед,
Кто молод, любит кипень сот,
Пчелиный в липах хоровод!
Любя, порадуйся со мной
Пчела со взяткой золотой.
Ты сладкой пасеке верна,
Я ж — песне голубее льна,
Когда цветет дремотно он
В просонки синие влюблен!
Со мною радость разделите,
Баран, что дарит прялке нити
Для теплых ласковых чулок,
Глашатай сумерек — Волчок
И рябка — тетушка-ворчунья,
С котягою,— шубейка кунья,
Усы же гоголиной масти.
Ворона — спутница ненастья, —
Не каркай голодно, гумно
Зареет, словно в рай окно,
Там полногрудые суслоны

Ждут молотьбы рогов и звона;
Кто слышит музыку гумна,
Тот вечно молод, как весна!
Как сизый аир над ручьем,
Порадуйся, мой старый дом,
И улыбнись скрипучей ставней.
Мы заживем теперь исправней,
Тебе за нищие годины
Я шапку починю тесиной
И брови подведу смолой.
Пусть тополь пляшет над тобой
Гуськом, в зеленую присядку!
Порадуйся со мной и кадка,
Моя дубовая вдова,
Что без соленья не жива,
Теперь же, богатея салом,
Будь женкой мне и перевалом
В румяно-смуглые долины,
Где не живут с клюкой морщины,
И старость, словно дуб осенний,
Пьет чашу снов и превращений,
Вся солнце рдяное, густое,
Чтоб закатиться в молодое,
Быть может, в песенки твои,
Где гнезда свили соловьи,
В янтарный пальчик с перстеньком.
Взгляни. смеется старый дом,
Осклабил окна до ушей
И жмется к тополю нежней,
Как я, без мала в пятьдесят,
К твоей щеке, мой смуглый сад,
Мой улей с солнечною брагой!

Не потому ли над бумагой
Звенит издевкой карандаш,
Что бледность юности не пара,
Что у зимы не хватит чаш
Залить сердечные пожары?!
Уймись, поджарый надоеда, —
Не остудят метели деда,
Лишь стойло б клевером цвело,
У рябки лоснилось крыло
И конь бы радовался сбруе,
Как песне непомерный Клюев!
Он жив, олонецкий ведун,
Весь от снегов и вьюжных струн
Скуластой тундровой луной
Глядится в яхонт заревой!

1932 (?)

* * *

Чтоб пахну́ло розой от страниц
И стихотворенье садом стало,
Барабанной переклички мало,
Надо слышать клекоты орлиц,
В непролазных зарослях веприц —
На земле, которой не бывало.
До чудесного материка
Не доедешь на слепых колесах.
Лебединый хоровод на плесах,
Глубину и дрему тростника
Разгадай, где плещется строка,
Словно утро в розовых прокосах.
Я люблю малиновый падун,
Листопад горящий и горючий,
Оттого стихи мои как тучи
С отдаленным громом теплых струн.
Так во сне рыдает Гамаюн —
Что забытый туром бард могучий.
Простираясь розой подышать,
Сердце, как малиновка в тенетах,
Словно сад в осенних позолотах,
Ро́нит давнее, как листья в гать.

Роза же в неведомых болотах,
Как лисица редкая в охотах,
Под пером не хочет увядать.
Роза, роза! Суламифь! Елена!
Спят чернила заодно с котом,
Поселилась старость в милый дом,
В заводь лет не заплывет сирена,
Там гнилые водоросли, пена
Парусов, как строчек рваный ком.
Это тридцать лет словостроенья,
Плешь как отмель, борода — прибой,
Будет и последний китобой —
Встреча с розою — владычицей морской
Под тараны кораблекрушенья.
Вот тогда и расцветут страницы
Горным льном, наливами пшеницы,
Пихтовой просекой и сторожкой.
Мой совенок, подожди немножко,
Гости близко: роза и луна,
Старомодно томна и бледна!

1932 (?)

⟨ИЗ ЦИКЛА «О ЧЕМ ШУМЯТ СЕДЫЕ КЕДРЫ»⟩

Анатолию Яр-Кравченко

1

Сегодня звонкие капели —
Прилет касаток из Египта
На милый север. Явь иль сон?
Но бубенцы капели сыпьте
В молотобойный вешний звон!..
Цветите, ярь и конопели!

Не солнце ль пенится в слесарне,
Чтобы не слепло и не жгло?
Не ветру ль штопают крыло,
Как ласты мельнице? Стожарней
Играют зори меж ракит,
И вихорь скулы не трудит,
Ласкаясь росней и купавней.

О, жизнь! О, легкие земли,
Свежительнее океана!..
И черноземного Ивана
В зрачках пшеничные кули,
И на ладонях город хлебный!
Прибойно, фугою хвалебной,
О межи плещут конопли.

Россия, матерь, ты ли? Ты ли?
Босые ноги, плат по бровь,
Хрустальным лебедем из былей
Твоя слеза, ковыль-любовь
Плывут по вольной заводине!
И только старость при лучине
На саван тянет волокно.

Уйди, сухое толокно
И тюря с серою загустой!
Горою выросла капуста,
Какой на свете не бывало!
Из песен ткется одеяло
Для молодого новожёна,
Стальному мерину попона
Испещрена моей погудкой,
Олонецкою незабудкой
И шамаханской резедой!
Товарищ, вскормленный звездой
Пятиочитой и пурпурной,
Тебе моих напевов зурны,
Лезгинка рифм под блеск кинжала!

Пусть песногранные опалы
Хрустят на варварских зубах!

Моя любовь врагам на страх,
И ненависть — земле как ужин
Опосле ловли стерлядей,
Когда свистит костер стожалый
И красит огненное сало
Мережи, полные жемчужин
И киноварных лебедей!

Моя любовь — в полях капель,
Сорокалетняя, медвежья,
Свежее пихт из Заонежья,
Пьянее, чем косматый шмель
В медовом погребе под щебнем!..

Пусть солнце золотистым гребнем
Отныне чешет наши нивы, —
Оно заштопано на диво
Неуязвимою рукой,
И нитью, крашенною кровью,
Чтобы вовеки к изголовью
Моей республики родной
Не прилетал совиный рой
С хозяйкой — тощей голодухой,
Лишь кедры глухариным пухом,
Как гнезда, веяли б в капели
О том, как жили мы и пели!

2

Недоуменно не кори,
Что мало радио-зари
В моих стихах — бетона, гаек,
Что о мужицком хлебном рае
Я нудным оводом бубню
Иль костромским сосновым звоном!
Как перс священному огню,
Я отдал дедовским иконам
Поклон до печени земной,
Микула с мудрою сохой,
И надломил утесом шею.

Без весен и цветов коснея,
Скатилась долу голова, —
На языке плакун-трава,
В глазницах воск да росный ладан.
Греховным миром не разгадан,
Я цепенел каменнокрыло
Меж поцелуем и могилой,
В разлуке с яблонною плотью.
Вдруг потянуло вешней сотью!
Не Гавриил ли с горней розой?..
Ты прыгнул с клеверного воза,
Борьбой и молодостью пьян,
В мою татарщину, в бурьян,
И молотом разбил известку, —
К губам поднес, как чашу, горстку
И солнцем напоил меня
Свежее вымени веприцы!

Воспрянули мои страницы
Ретивей дикого коня.
В них ржанье, бешеные гривы,
Дух жатвы и цветущей сливы!

Сбежала темная вода
С моих ресниц коростой льда;
Они скрежещут, злые льдины,
И, низвергаясь в котловины
Забвения, ири́сы режут,
Протальники — дары апреля! . .
Но ты поставил дружбы вежу
Вдали от вероломных мелей,
От мглистых призраков трясин.
Пусть тростники моих седин,
Как речку, юность окаймляют,
Плывя по розовому маю,
Причалит сердце к октябрю,
В кленовый яхонт и зарю,
И пеклеванным Гималаям
Отдаст любовь с мужицким раем,
С олонецким озерным звоном,
С плакучим ивовым поклоном,
За клеверный румяный воз,
За черноземный плеск борозд.
О, берега России, сказки,
Без серой заячьей опаски,
Что василек забудет стог
За пылью будней и дорог!

3

Под пятьдесят пьянее розы,
Дремотней лен, синей фиалки,
Пряней, землистей резеда,
Как будто взрыто для посева
Моим племянником веселым
Дерно у старого пруда.
Как будто в домик под бузиной
Приехала на хлябких дрожках
С погоста мама.
Солнце спит
Теленком рыжим на дорожке,
И веет гроздью терпко-винной
От бухлых слизистых ракит.
Всё чудится раскат копыт
По кремню непробудных плит
От вавилонских городов...
Шмелиной цитрой меж цветов
Теленькают воспоминанья.
Преодолел земную грань я,
Сломал у времени замок,
Похожий на засов церковный,
И новобрачною поповной
Вхожу в заветный теремок,
Где суженый, как пастушок,
Запрячет душу в кузовок,
Чтоб пахли звезды резедой,
Стихи же — полою водой,
Плотами, буйным икрометом,
Гаданьем девичьим по сотам —
Чет, нечет, лапушка иль данник?

Как будто юноша-племянник
Дерно у старого пруда
Веселым заступом корчует,
А сам поет, в ладони дует,
Готовя вереску и льну
Пятидесятую весну!

Между 1930 и 1933

ПОЭМЫ

МАТЬ-СУББОТА

Николаю Ильичу Архипову —
моей последней радости!

Ангел простых человеческих дел
В избу мою жаворо́нком влетел,
Заулыбалися печь и скамья,
Булькнула звонко гусыня-бадья,
Муха впотьмах забубнила коту:
«За ухом, дяденька, смой черноту!»

Ангел простых человеческих дел
Бабке за прялкою венчик надел,
Миром помазал дверей косяки,
Бусы и киноварь пролил в горшки,
Посох врачуя, шепнул кошелю:
«Будешь созвучьями полон в раю!..»

Ангел простых человеческих дел
Вечером голубь, в рассветки же бел,
Перед ковригою свечку зажег,
В бороду сумерек вплел василек,
Сел на шесток и затренькал сверчком:
«Мир тебе, нива, с горбатым гумном,

Мир очагу, где обильны всегда
Звездной плотвою годов невода! . .»

Невозмутимы луга тишины —
Пастбище тайн и овчинной луны.
Там небеса, как полати, теплы,
Овцы — оладьи, ковриги — волы;
Пищным отарам вожак — помело,
Отчая кровля — печное чело.

Ангел простых человеческих дел
Хлебным теленьям дал тук и предел.

Судьям чернильным постылы стихи,
Где в запятых голосят петухи,
Бродят коровы по злачным тире,
Строки ж глазасты, как лисы в норе.
Что до того, если дедов кошель —
Луг, где Егорий играет в свирель,
Сивых, соловых, буланых, гнедых
Поят с ладоней соборы святых:
Фрол и Медост, Пантелéймон, Илья —
Чин избяной, луговая семья.

Что до того, если вечер в бадью
Солнышко скликал: «тю-тю да тю-тю!»
Выведет солнце бурнастых утят
В срок, когда с печью прикурнет ухват,
Лавка постелет хозяйке кошму,
Вычернить косы — потемок сурьму.

Ангел простых человеческих дел
Певчему суслу взбурлить повелел.

Дремлет изба, как матерый мошник
В пазухе хвойной, где дух голубик,
Крест соловецкий, что крепче застав,
Лапой бревенчатой к сердцу прижав.
Сердце и Крест — для забвенья мета...
Бабкины пальцы — Иван Калита,
Смерти грозятся, узорят молву,
В дебрях суслонных возводят Москву...

Слышите ль, братья, поддонный трезвон —
Отчие зовы запечных икон?!
Кони Ильи, Одигитрии плат,
Крылья Софии, Попрание врат,
Дух и Невеста, Царица предста
В колосе житном отверзли уста!

Ангел простых человеческих дел
В персях земли урожаем вскипел.

Чрево овина и стога крестцы —
Образов деды, прозрений отцы.
Сладостно цепу из житных грудей
Пить молоко первопутка белей,
Зубы вонзать в неневестную плоть —
В темя снопа, где пирует господь.
Жернову зерна — детине жена,
Лоно посева — квашни глубина,

Вздохи серпа и отжинок тоску
Каменный пуп растирает в муку.

Бабкины пальцы — Иван Калита
Ставят помолу капкан решета.
В пестрой макитре вскисает улов:
В чаше агатовой очи миров,
Распятый Лебедь и Роза над ним...
Прочит огонь за невесту калым,
В звонких поленьях зародыши душ
Жемчуг ссыпают и золота куш...
Савское миро, душисто-смугла
Входит Коврига в Чертоги Тепла.

Тьмы серафимов над печью парят
В час, как хозяйка свершает обряд:
Скоблит квашню и в мочалкин вихор
Крохи вплетает, как дружкин убор.
Сплетницу муху, пройдоху кота
Сказкой дивит междучасий лапта.

Ангел простых человеческих дел
Умную нежить дыханьем пригрел.

Старый баран и провидец-петух,
Сторож задворок лохматый лопух
Дождик сулят, бородами трепля...
Тучка повойником кроет поля,
Редьке на грядке испить подает —
Стала б ядрена, бела наперед.
Тучка — к пролетью, к густым зеленям,
К свадьбам коровьим и к спорым
блинам.

В горсти запашек опару пролив,
Селезнем стала кормилица нив.

Зорко избе под сытовым дождем
Просинь клевать, как орлице, коньком.
Нудить судьбу, чтобы ребра стропил
Перистым тесом хозяин покрыл,
Знать, что к отлету седые углы
Сорок воскрылий простерли из мглы,
И к новоселью в поморья окон
Кедровый лик окунул Елеон,
Лапоть Исхода, Субботу Живых...

Стелют настольник для мис золотых,
Рушают Хлеб для крылатых гостей
(Пуду — Сергунька, Васятке — Авдей).
Наша Суббота озер голубей!

Ангел простых человеческих дел
В пляске Васяткиной крылья воздел.

Брачная пляска — полет корабля
В лунь и агат, где Христова Земля.
Море житейское — черный агат
Плещет стихами от яростных пят.
Духостихи — златорогов стада,
Их по удоям не счесть никогда,
Только следы да сиянье рогов
Ловят тенета захватистых слов.
Духостихи отдают молоко
Мальцам безудным, что пляшут легко.

Мельхиседек и Креститель Иван
Песеннорогий блюдут караван.

Сладок Отец, но пресладостней Дух, —
Бабьего выводка ястреб — пастух,
Любо ему вожделенную мать
Страсти когтями, как цаплю, терзать,
Девичью печень, кровавый послед
Клювом долбить, чтоб родился поэт.
Зыбка в избе — ястребиный улов
Матери мнится снопом васильков;
Конь-шестоглав сторожит васильки, —
Струнная грива и песня зрачки.

Сноп бирюзовый — улыбок кошель —
В щебет и грай пеленает апрель,
Льнет к молодице: «Сегодня в ночи
Пламенный дуб возгорит на печи,
Ярой пребудь, чтобы соты грудей
Вывели ос и язвящих шмелей:
Дерево-сполох — кудрявый Федот
Даст им смолу и сжигающий мед!»

Улей ложесн двести семьдесят дней
Пестует рой медоносных огней...
Жизнь-пчеловод постучится в леток:
Дескать, проталинка теплит цветок!..
Пасеке зыбок претит пустота —
В каждой гудит, как пчела, красота.
Маковый ротик и глазок слюда —
Бабья держава, моя череда.

Радуйтесь, братья, беременен я
От поцелуев и ядер коня!
Песенный мерин — багряный супруг
Топчет суставов и ягодиц луг,
Уды мои словно стойло грызет,
Роет копытом заклятый живот, —
Родится чадо — табун жеребят,
Музыка в холках, и в ржании лад.

Ангел простых человеческих дел
Гурт ураганный пасти восхотел.

Слава ковриге и печи хвала,
Что Голубую Субботу спекла,
Вывела лося — цимбалы рога,
Заколыбелить души берега!
Ведайте, други, к животной земле
Едет купец на беляне — орле!
Груз преисподний: чудес сундуки,
Клетки с грядущим и славы тюки!
Пристань-изба córованьем цветет,
Веще мурлычет подойнику кот,
Птенчики-зерна в мышиной норе
Грезят о светлой засевной поре;

Только б привратницу серую мышь
Скрипы вспугнули от мартовских лыж.
К зернышку в гости пожалует жук,
С каплей-малюткою — лучиков пук.
Пегая глыба, прядя солнопек,
Выгонит в стебель ячменный пупок.

Глядь, колосок, как подругу бекас,
Артосом кормит лазоревый Спас...

Ангел простых человеческих дел
В книжных потемках лучом заалел.

Братья, Субботе Земли
Всякий любезно внемли:
Лишь на груди избяной
Вы обретете покой!

Только ковриги сосцы —
Гаг самоцветных ловцы,
Яйца кладет где таган —
Дум яровой пеликан...

Светел запечный притин —
Китеж Мемелф и Арин,
Где словорунный козел
Трется о бабкин подол.

Там образок Купины —
Чаша ржаной глубины;
Тела и крови Руси,
Брат озаренный, вкуси!

Есть Вседержитель гумна,
Пестун мирского зерна,
Он, как лосиха телка,
Лижет земные бока,
Пахоту поит слюной
Смуглый господь избяной.

Перед Ним единым,
Как моло́кой сом,
Пьян вином овинным,
Исхожу стихом.

И в ответ на звуки
Гомонят улов
Осетры и щуки
Пододонных слов.

Мысленные мрежи,
Слуха вертоград,
Глуби Заонежий
Перлами дарят.

Палеостров, Выгу,
Кижи, Соловки
Выплескали в книгу
Радуг черпаки.

Там, псаломогорьем
Звон и чаек крик,
И горит над морем
Мой полярный лик.

Ангел простых человеческих дел
В сердце мое жавóронком влетел.
Видит, светелка, как скатерть, чиста,
Всюду цветут «ноготки» и «уста»,
Труд яснозубый тачает суму —
Слитки беречь рудокопу Уму,

Девушка Совесть вдевает в иглу
Нити стыда и ресничную мглу...

Ткач пренебесный, что сердце потряс,
Полднем солов, ввечеру синеглаз,
Выткал затон, где напевы-киты
Дремлют в пучине до бурь красоты...
Это — Суббота у смертной черты,
Это — Суббота опосле Креста...
Кровью рудеют России уста,
Камень привален, и плачущий Петр
В ночи всемирной стоит у ворот...

Мы готовим ароматы
Из березовой губы,
Чтоб помазать водоскаты
У Марииной избы.

Гробно выбелим убрусы
И с заранкой-снегирем
Пеклеванному Исусу
Алевастры понесем.

Ты уснул, пшеничноликий,
В васильковых пеленах...
Потным платом Вероники
Потянуло от рубах.

Блинный сад благоуханен...
Мы идем чрез времена,

Чтоб отведать в новой Кане
Огнепального вина.

Вот и пещные ворота,
Где воркует голубь — сон,
И на камне Мать-Суббота
Голубой допряла лен.

‹1922›

ИЗ ПОЭМЫ
«ПЛАЧ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ»

Мы свое отбаяли до срока —
Журавли, застигнутые вьюгой.
Нам в отлет на родине далекой
Снежный бор звенит своей кольчугой.

Помяни, чертушко, Есенина
Кутьей из углей да из омылок банных!
А в моей квашне пьяно вспенена
Опара для свадеб да игрищ багряных.

А у меня изба новая —
Полати с подзором, божница неугасимая,
Намел из подлавочья ярого слова я
Тебе, мой совенок, птаха моя любимая!

Пришел ты из Рязани платочком бухарским,
Не стираным, не полосканым, не мыленым,
Звал мою пазуху улусом татарским,
Зубы табунами, а бороду филином!

Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка,
Слюной крепил мысли, слова слезинками,

Да погасла зарная свеченька, моя
лесная лампадка
Ушел ты от меня разбойными
тропинками!

Кручинушка была деду лесному,
Трепались по урочищам берестяные седины,
Плакал дымом овинник, а прясла солому
Пускали по ветру, как пух лебединый.

Сядет матушка под оконницу
С долгой прялицей, с веретёнышком,
Со своей ли сиротской работушкой,
Запоет она с ниткой нáровне
И тонехонько и тихохонько:
«Ты, гусыня белая,
Что сегодня делала?
Баю-бай, баю-бай,
Елка, челкой не качай!
Али ткала, али пряла,
Иль гусеныша купала?
Баю-бай, баю-бай,
Жучка, попусту не лай!
На гусеныше пушок,
Тега мальчик-кудряшок —
Баю-бай, баю-бай,
Спит в шубейке горностай!
Спит березка за окном
Голубым купальским сном —
Баю-бай, баю-бай,
Сватал варежки шугай!

Сон березовый пригож,
На Сереженькин похож!
    Баю-бай, баю-бай,
    Как проснется невзначай!»

1926

ЗАОЗЕРЬЕ

Памяти матери

Отец Алексей из Заозерья —
Берестяный светлый поп,
Бородка — прожелть тетерья,
Волосы — житный сноп.

Весь он в росе кукушьей,
С окуньим плеском в глазах,
За пазухой — бабьи души,
Ребячий, лоскутный страх.

Дудя коровьи молебны
В зеленый Егорьев день,
Он в воз молочный и хлебный
Свивает сны деревень.

А Егорий поморских писем
Мчится в киноварь, в звон и жуть,
Чтобы к стаду волкам и рысям
Замела метелица путь,

Чтоб у баб рожались ребята
Пузатей и крепче реп,

И на грудах ржаного злата
Трепака отплясывал цеп.

Алексею ружит деревня,
Как Велесу при Гостомысле.
Вон девка несет, не кре́ня,
Два озера на коромысле.

На речке в венце сусальном
Купальница Аграфена,
В лесах зарит огнепально
Дождевого Ильи икона.

Федосья-колосовица
С Медостом — богом овечьим
Велят двуперстьем креститься
Детенышам человечьим.

Зато у ребят волосья
Желтее зимнего льна...
В парчовом плату Федосья,
Дозорит хлеба она.

Фролу да Лавру работа —
Пасти табун во лесях,
Оттого мужичьи ворота
В смоляных рогатых крестах.

Хорошо зимой в Заозерье,
Заутренний тонок звон,
Как будто лебяжьи перья
Падают на амвон.

А поп в пестрядинной ризе,
С берестяной бородой,
Плавает в дымке сизой,
Как сиг, как окунь речной.

Церквушка же, в заячьей шубе,
В сердцах на Никона-кобеля́,
От него в заруделом срубе
Завелась скрипучая тля!

От него мужики в фуражках,
У парней враскидку часы!
Только сладко в блинах да алажках,
Как в снопах, тонуть по усы.

А уж бабы на Заозерье —
Крутозады, титьки как пни,
Все Мемелфы, Груни, Лукерьи
По веретнам считают дни.

У баб чистота по лавкам,
В печи судачат горшки, —
Синеглазым Сенькам да Савкам
Спозаранка готовь куски.

У Сеньки кони-салазки,
Метель подвязала хвост...
Но вот с батожком и в ряске
Колядный приходит пост.

Отец Алексей в притворе
Стукает о пол лбом,

Чтоб житные сивые зори
Покумились с мирским гумном,

Чтоб водились сиги в поречье,
Был добычен прилет гусей.
На лесного попа, на свечи
Смотрит бог, озер голубей.

Рожество — звезда золотая,
Воробьиный, ребячий гам,
Колядою с дальнего края
Закликают на Русь Сиам.

И Сиам гостит до рассветок
В избяном высоком углу.
Кто не видел с павлинами клеток,
Проливающих яхонт во мглу?

Рожество — калач златолобый,
После святки — вьюг помело,
Вышивают платки зазнобы,
На морозное глядя стекло

В Заозерье свадьбы на диво,
За невестой песен суслон,
Вплетают в конские гривы
Ирбитский, суздальский звон.

На дружках горят рубахи
От крепких девичьих губ,
Молодым шептухи да свахи
Стелют в горнице волчий тулуп.

И слушают избы и звезды
Первый звериный храп,
У елей, как сев в борозды,
Сыплется иней с лап.

Отцу Алексею руга
За честной и строгий венец.
У зимы ослабла подпруга,
Ледяной взопрел жеребец.

Эво, масленица навстречу,
За нею блинный обоз!
В лесную зыбель и сечу
Повернул пургача мороз.

———

Великие дни в деревне —
Журавиный плакучий звон,
По мертвой снежной царевне
Церквушка правит канон.

Лиловые павечерья,
И, как весточка об ином,
Потянет из Заозерья
Березовым ветерком.

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И у елей в лапах простертых
Венки из белых купав.

В зеленчатом сарафане
Слушает звон сосна.

Скоро в лужицу на поляне
Обмакнет лапоток весна.

Запоют бубенцы по взгорью,
И, как прежде в тысячах дней,
Молебном в уши Егорью
Задудит отец Алексей.

‹1927›

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание содержит наиболее примечательные в художественном отношении и типичные образцы творчества Н. А. Клюева. В основу книги положено самое полное прижизненное собрание сочинений поэта — «Песнослов», кн. 1—2 (Пг., 1919). Кроме того, в сборник включены и некоторые дооктябрьские ст-ния Клюева, не вошедшие в «Песнослов», а также созданные после издания двухтомника (в 1919—1933 гг.).

До Октября 1917 г. Клюев выпустил четыре книги стихов: «Сосен перезвон» (М., 1912, два издания), «Братские песни» (М., 1912), «Лесные были» (М., 1913) и «Мирские думы» (Пг., 1916; вышла в конце 1915 г.). С середины 1916 г. поэт вел переговоры с издателем М. В. Аверьяновым о выпуске своего собрания сочинений под названием «Песнослов» (письма Клюева к М. В. Аверьянову в архиве Пушкинского дома). Первая книга «Песнослова» (составленная из материалов вышеназванных сборников) была послана издателю в в сопровождении письма от 3 октября 1917 г. (ст. ст.). Автор сообщал о том, что «прибавил штук десять не вошедших в первые издания стихотво-

рений» (эти ст-ния, не публиковавшиеся ни в периодике, ни в дооктябрьских сборниках, написаны не позднее 1916 г. и датируются предположительно). Клюев обязался также подготовить через год для изд-ва Аверьянова новую книгу стихов и включить в нее сто неопубликованных ранее ст-ний. Октябрьская революция изменила планы поэта. Летом 1918 г. он порвал с частным издателем, так как получил предложение Наркомпроса напечатать свое собрание сочинений в советском издательстве. В 1919 г. двухтомник «Песнослов» был выпущен Литературно-издательским отделом Наркомпроса. Во второй том вошли «Избяные песни» и ст-ния, в массе своей ранее не публиковавшиеся. Заключительный раздел «Песнослова»— «Красный рык» — составили стихи конца 1917— начала 1919 гг., печатавшиеся в сб. «Скифы», вып. 2 (Пг., 1918), в журнале «Пламя» (Пг.), в газете «Знамя труда» (Пг.—М.), в «Красной газете» (Пг.), в вытегорской газете (выходившей под названием «Известия Вытегорского совета. . .», «Вытегорская коммуна», «Звезда Вытегры»). Некоторые из ст-ний этого раздела вошли также в первый послеоктябрьский сборник Клюева «Медный кит» (Пг., 1919, фактически вышел в конце 1918 г.). Часть ст-ний «Песнослова» перепечатывалась автором в сборниках «Неувядаемый цвет» (Вытегра, 1920), «Песнь Солнценосца. Земля и железо» (Берлин, 1920), «Изба и поле» (Л., 1928).

Структура «Песнослова» и последующих сборников поэта в данном издании не сохранена: оно состоит из двух разделов — «Стихотворения» и

«Поэмы». Внутри каждого из них материал расположен в хронологической последовательности.

Клюев, за редким исключением, не датировал своих произведений — ни в печати, ни в автографах. Поэтому большинство указанных здесь дат — это даты первых публикаций, означающие, что ст-ние написано не позднее данного года (в отличие от дат написания, они заключены в угловые скобки). Некоторые ст-ния 1907 г., а также все произведения 1908—1910 гг. датируются по письмам Клюева к А. Блоку, которому молодой поэт посылал свои стихи. Даты ряда других ст-ний уточнены по архивным материалам.

С целью уточнения текстов и их датировки была просмотрена дооктябрьская и послеоктябрьская периодика, в том числе комплекты уездной советской газеты в г. Вытегра (где Клюев часто печатался в 1918 и 1919 гг.). Просмотрены также рукописи Клюева, находящиеся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ), в Рукописных отделах Института мировой литературы (ИМЛИ), Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР (ПД), Государственного литературного музея (ГЛМ), Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ), Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ). К сожалению, полностью архив Клюева не сохранился. Значительная часть его была утрачена после смерти поэта.

В настоящем издании произведения поэта печатаются по последним авторским редакциям,

то есть по тем публикациям, где окончательно установился стихотворный текст. Цикл «Избяные песни» приводится по «Песнослову», кн. 2, так как позднейшее издание этого цикла (Берлин, 1920) является перепечаткой раннего варианта текста (в сб. «Скифы», вып. 2, Пг. 1918).

Ст-ния, не входившие в авторские сборники, печатаются по следующим источникам:

«Где вы, порывы кипучие...» — альм. «Волны», М., 1905; «Казарма», «На часах» — «Трудовой путь» (СПб.), 1907, № 9; 1908, № 1; «Горниста смолк рожок...», «Горние звезды как росы...» — «Русская литература», 1975, № 3; «На сивом плесе гагарий зык...» — «Пряник осиротевшим детям. Сборник в пользу убежища „Детская помощь“», Пг., 1916; «Застольный сказ», «Сказ грядущий» — «Дело народа» (Пг.), 1917, 22 октября; «Гимн великой Красной Армии» — «Известия Вытегорского совета крест., раб. и красноарм. депутатов», 1919, 23 февраля; «Красные незабудки» — «Звезда Вытегры», 1919, 29 июня; «Ловцы» — «Пламя» (Пг.), 1919, № 44; «Гитарная» — «Красная газета», веч. вып., 1925, 22 октября; «Богатырка» — «Звезда», 1926, № 1; «Ленинград», «Застольная» (цикл «Новые песни») — там же, № 2; «Я, кузнец Вавила...» — «Прожектор», 1926, № 9; «Из поэмы „Плач о Сергее Есенине“» — «Красная газета», веч. вып., 1926, 28 декабря; «Корабельщики» — «Лит. Россия», 1966, 25 ноября; «Юность» — «Звезда», 1927, № 5; «Вечер» — «Красная панорама», 1927, № 39; «Стихи из колхоза» — «Земля Советская», 1932, № 12. Ст-ние «На часах» приво-

дится по журналу «Трудовой путь», 1908, № 1 с поправкой: последние две строки текста ошибочно подверстаны к чужому ст-нию. Поэма «Заозерье» печатается по кн.: «Костер. Сборник стихов», Л., 1927.

Кроме того, по автографам приведены следующие ст-ния: «Поэт» (ПД); «Баюкало тебя райское древо. . .», «По жизни радуйтесь со мной. . .», «Чтоб пахну́ло розой от страниц. . .», «Под пятьдесят пьянее розы. . .», «Когда осыпаются липы. . .» (ИМЛИ); «Брезг самоварной решетки. . .», «Недоуменно не кори. . .», «Сегодня звонкие капели. . .», «Вот и я — суслон овсяный. . .», «Дружба» (ГЛМ). Ст-ния «Сегодня звонкие капели. . .», «Дружба», «Вот и я, суслон овсяный. . .» публикуются впервые.

Пояснения архаизмов, диалектизмов, устаревшей и малоупотребительной лексики вынесены в Словарь.

За содействие в работе составитель выражает благодарность директору ЦГАЛИ Н. Б. Волковой, старшему научному сотруднику Вытегорского районного краеведческого музея М. П. Дмитриевой и заведующей рукописным сектором ГЛМ М. Г. Ватолиной.

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Где вы, порывы кипучие. . .» Тюремные мотивы в этом и ряде других ст-ний поэта имеют биографическую основу (см. во вступ. статье,

с. 9). Как свидетельствует подзаголовок к позднейшему ст-нию «Змей» («Новая земля», 1912, № 15-16), Клюев намеревался написать цикл стихов под названием «Тюрьма».

Казарма. В 1907 г. Клюева призвали на военную службу, которую поэт считал несовместимой со своими убеждениями.

«Я говорил тебе о боге...» *Сирена* (греч. миф.) — полудева-полуптица, завлекавшая моряков своим пением и губившая их.

«Я был в духе в день воскресный...» Эпиграф — цитата из Апокалипсиса, одной из книг Нового завета, где в форме фантастических видений изображаются будущие судьбы мира и человечества: приход «антихриста», предстоящая борьба с ним «воинства небесного» под водительством архистратига (см. Словарь), «конец света» и «тысячелетнее царство божие на земле».

«Помню я обедню раннюю...» *Зодиак* (греч.) — двенадцать созвездий, в пределах которых Солнце, по средневековым представлениям, совершало свой видимый путь в течение года; рождению под тем или иным знаком Зодиака (т. е. в тот или иной месяц года) астрологами придавалось мистическое значение.

Обидин плач. Ранняя редакция ст-ния, датируемая по одному из писем к Блоку, в первой публикации называлась «Современная былина» («Бодрое слово», 1909, № 5) и была направлена против репрессий периода реакции. В этом тексте цензурой было изъято шесть строк, замененных точками. В книгах «Сосен перезвон» и «Лесные были» Клюев перепечатал ст-ние под загл. «Лесная быль» с пропуском других шести строк, предшествовавших цензурной купюре. В окончательном и переработанном виде «Обидин плач» появился в «Песнослове» (т. 1), причем картина «поля грозного, убойного» имела в виду первую мировую войну. Образ девы *Обиды* восходит к «Слову о полку Игореве»: «Въстала обида в силахъ Дажь-Божа внука, вступила девою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синем море у Дону...» *Спасова заутреня.* Спас (Спаситель) — Иисус Христос.

Голос из народа. В первой публикации ст-ние имело подзаголовок: «Посвящается русской интеллигенции». Слова «Вы — отгул глухой, гремучей, Обессилевшей волны» обращены к интеллигенции, которую Клюев обвиняет в пессимизме, в книжном мудрствовании, отчужденности от «матери-природы». Интеллигенции противопоставляются люди из народа, писатели из народной среды.

Александру Блоку (1 и 2). С 1907 г. по 1915 г. Клюев переписывался с Блоком, посылал

ему свои ранние стихи, несколько раз посещал его в Петербурге (см. вступ. статью, с. 13—18). Позднее Блок разочаровался в поэзии Клюева, как это явствует из его рецензии 1919 г. на стихи Д. Семеновского (см.: А. Блок, Собр. соч. в восьми томах, т. 6, М.—Л., 1962, с. 342).

«В морозной мгле, как око сычье...» Ст-ние, первоначально носившее название «К родине» (в книге «Сосен перезвон»), по теме перекликается с лирикой Блока 1906—1908 гг. Ср. у Блока: «О, Русь моя! Жена моя! До боли Нам ясен долгий путь» («На поле Куликовом»); у Клюева: «О, кто ты, родина? Старуха? Иль властноокая жена?» У Блока: «Чтоб в рай моих заморских песен Открылись торные пути» («Балаган»); у Клюева: «Чтоб в тайники твоих раздолий Открылись торные пути».

«Как вора дерзкого, меня...» Первая строка — неточная цитата из ст-ния Леонида Семенова «Проклятие» («Трудовой путь», 1907, № 3, с. 1). О дружбе Клюева и Семенова, их сотрудничестве в демократическом журнале «Трудовой путь» (в 1907—1908 гг.) см. в статье К. М. Азадовского «Раннее творчество Н. А. Клюева» («Русская литература», 1975, № 3, с. 197—199). *Синедрион* — совет аристократов и старейшин Иерусалима; с I в. до н. э. до I в. н. э. — верховный суд Иудеи; согласно евангельской легенде, Христос

был осужден синедрионом и передан в руки римских властей, казнивших его.

«Есть на свете край обширный...» *Мчится витязь долгожданный На вспененном скакуне.* Ср. у Блока: «Прискакала дикой степью На вспененном скакуне...» (начальные строки ст-ния 1905 г.). У Блока также есть образ девушки-царевны, ожидающей рыцаря, несущего «из сечи На острие копья — весну» («Так окрыленно, так напевно...», 1907).

«За лебединой белой долей...» *Магдалина* Мария — по евангельской легенде, раскаявшаяся грешница, которую Христос освободил от вселившихся в нее бесов.

Бегство. *Я бежал в простор лугов Из-под мертвенного свода.* Речь идет о вражде Клюева к официальной церкви, о тяготении его к сектантам-скрытникам и староверам-беспоповцам, скиты и селения которых, из-за преследования властей, находились в глухих местах северных губерний.

«Он придет! Он придет! И содрóгнутся горы...» Речь идет об апокалипсических пророчествах «второго пришествия» и наступления «тысячелетнего царства божия». *Презренным* — здесь: униженным.

«Вы обещали нам сады...» Эпиграф — тот же, что и в ст-нии К. Д. Бальмонта «Оттуда», где имеется помета: «Коран». В своем ст-нии Бальмонт рисует картины безмятежной райской жизни. Клюев полемизирует с ним с позиций крестьянского поэта, отвергающего несбыточные интеллигентские пророчества и посулы. *Неведомые Мы* — люди из народа, не затронутые пороками цивилизации и не утратившие связей с родной природой.

«Прохожу ночной деревней...» *Хвалынщина.* В Древней Руси Хвалынским называлось Каспийское море.

Посадская. *Соловки* — Соловецкие острова в Белом море; на самом большом из них — Соловецком — находился монастырь, основанный в XV в.

«Певучей думой обуян...» *Королевич Еруслан* — герой популярной лубочной «Повести о Еруслане Лазаревиче» (XVII в.).

«Сготовить деду круп...» *Вольга* — один из героев былин, богатырь. *Лаче* (Лача) — озеро в Архангельской обл. Название озера Клюев уточняет в письме к Блоку (сентябрь 1912), возможно в связи с этим ст-нием (в письме не упоминается).

«З а п е ч н ы х п о т е м о к ч у р а е т с я д е н ь. . .» *Микола* — святой Николай, по народным поверьям покровитель крестьян. *Сестры Седмицы* — здесь, возможно, календарь (седмица — неделя). *Топтыгин с козой* — сюжет популярной лубочной картинки.

«Д ы м н о и т е с н о в и з б е. . .» *Лель* в русской литературной традиции XVIII—XIX вв. считался древним славянским божком любви.

«Н о ч е н ь к а т е м н а я, ж и з н ь п о д н е в о л ь н а я. . .» *Умерла мать.* Мать поэта, Прасковья Дмитриевна, умерла 19 ноября 1913 г.

«П р о с и н ь — м о р е, т у ч а — к и т. . .» *Остров Соловецкий* — см. с. 488.

«В с у с л о н а х у с а т о е ж и т о. . .» *Преподобный Аверкий* — день памяти христианского святого Аверкия приходился на 22 октября ст. ст.

«О к т я б р ь — п е т у х м е д я н о з о б ы й. . .» *Покровки* — Покров, христианский праздник 1 октября ст. ст.

«В о т и я — с у с л о н о в с я н ы й. . .» *Бабий ангел Гавриил* — по евангельской легенде, архангел Гавриил возвестил деве Марии непорочное зачатие и рождение Иисуса Христа.

М и р с к а я д у м а. *Муромский плес* — местность на побережье Онежского озера. *Лазарь преподобный* — монах, уроженец Константинополя, основавший в XIV в. Успенскую обитель на Мурманском острове Онежского озера. Оставил «Духовное завещание», где рассказал об основании обители и о миссионерстве среди лопарей. *Им любовь пригвождена ко древу* — имеется в виду распятие Христа. *«Свете тихий»* — церковное песнопение.

«Ч т о т ы, н и в у ш к а, ч е р н е ш е н ь к а...» *Микулову пахоту.* Микула Селянинович — герой былинного эпоса, пахарь-богатырь. *Дева-Пятенка* — христианская святая Параскева-Пятница. *Никола* — святой Николай; день Николы *Теплого* (или Вешнего) отмечался 9 мая по ст. ст.

И з б я н ы е п е с н и. Многие ст-ния цикла посвящены памяти матери Клюева (см. о ней примеч. к ст-нию «Ноченька темная, жизнь подневольная...»).

1. *Митрий Солунский* — Дмитрий Солунский, христианский великомученик, считался покровителем славянских народов и особо чтился в России. *Микола* — см. с. 489. *Влас* — христианский святой; по народным поверьям, покровитель домашнего скота. *Креститель Иван* — Иоанн Креститель (или Предтеча), согласно евангельской легенде, предсказал пришествие Иисуса Христа, кото-

рого потом крестил в реке Иордан. Царь Галилеи Ирод заключил Иоанна в тюрьму и по требованию своей возлюбленной Иродиады обезглавил его.

6. *Спас* — см. с. 485, здесь — икона с изображением Христа. *Три пещных отрока* — легендарные христианские великомученики, будто бы спасенные ангелом в огненной печи. *Медост* (правильно: Модест) — православный святой, считавшийся покровителем овец. *Иван* — Иоанн Креститель, (см. выше). *Голубь над ним.* В образе голубя в церковной живописи изображался «святой дух».

7. *Завтра год, как родная в гробу.* Мать Клюева умерла 19 ноября 1913 г.

10. *Егорий* — Георгий Победоносец, христианский святой. В русских народных поверьях Егорий — покровитель скота. *Влас* — см. с. 490.

12. *До горнего неба семь нижних небес.* Горнее небо — здесь место обитания бога и ангелов; семь нижних небес — по представлениям раннего средневековья, семь сферических поясов небесного пространства, соответствовавших семи крупным планетам. *Фавор* — по евангельской легенде, священная гора, где Христос доказал ученикам свое божественное происхождение. *Иона* — по библейской легенде, пророк, который был проглочен большой рыбой и чудесным образом спасся от гибели. *Двуперстьем креста.* Старообрядцев, крестившихся двумя перстами, Клюев уподобляет чудесно спасшемуся Ионе.

В р а ж ь я с и л а. *Медост* — см. с. 491. *«Со святыми упокой»* — слова из заупокойной молитвы.

П о д д о н н ы й п с а л о м. *Вижу тебя не женой, одетой в солнце.* Здесь Клюев полемизирует с философией Вл. Соловьева и младших символистов (А. Белого, А. Блока и др.), с мистикой вечно-женственного в образе «Жены, облеченной солнцем» (см. подробнее во вступ. статье, с. 25). Вместе с тем «Поддонный псалом» отразил и представления Клюева о мессианской роли России (идея, разделявшаяся литературной группой «Скифы», к которой Клюев примыкал в 1916—1917 гг.). *Аз Бог Ведаю Глагол Добра.* Клюев дает здесь свое толкование буквам церковнославянской азбуки (А, Б, В, Г, Д), стремясь проникнуть в высший сокровенный смысл русской речи, где ему слышится *Синайский глас* (по библейской легенде, на горе Синай патриарх Моисей получил от бога десять заповедей); в русской народной песне *«Во зеленых лузях»* Клюеву чудится «тайнозренье». *Голубь Иорданский.* В образе голубя изображался «дух святой», который, согласно Евангелию, снисходил на верующих во время крещения в реке Иордан.

Б е л а я И н д и я. Об истоках образа Индии у Клюева см. вступ. статью, с. 74. Развивая свое представление о Белой Индии, Клюев позднее писал: «Иконописные миры, где живет последний трепет серафимских воскрылий... гром слова —

былинного, мысленного, моленного, заклинательного, радельного ...вот тайные, незримые для гордых взоров вехи, ведущие Россию — в Белую Индию, в страну высочайшего и сейчас немыслимого духовного могущества и духовной культуры» («Звезда Вытегры», 1919, 3 августа). В «Белой Индии» поэт создает своеобразный миф о происхождении «жизни села»: в клюевской космогонии деревенская изба становится центром Вселенной (см. вступ. статью, с. 37—38). *Гавриил* — архангел, см. с. 489. *Микула* — см. с. 490. *Сократ* — древнегреческий философ (469—399 до н. э.). *Будда* — легендарный основатель религии буддизма в Индии и других странах Востока (VI в. до н. э.). *Зороастр* (Заратуштра) — мифический персидский пророк, основатель зороастризма, религии древних народов Персии и Средней Азии. *Толстой* — Лев Николаевич. *Бабка Маланья* — героиня сказки Н. С. Лескова «Маланья — Голова баранья», прозванная так за свою доброту. *Престолы, Начала, Власти* — третий, второй и первый ангельские «чины». *Соловки* — см. с. 488. *Золотая Орда* — феодальное государство татаро-монголов (XIII — серед. XVI вв.). *Кис* — по библейской легенде, отец *Саула*. Отправившись разыскивать потерянных ослиц своего отца, Саул встретил пророка Самуила и с его помощью стал первым иудейским царем.

«Печные прибои пьянящи и гулки...» *Егорий* — см. с. 491. *То Индия наша* — см. примеч. к ст-нию «Белая Индия», с. 492. *Поликарп* — воз-

можно, имеется в виду религиозный писатель XIII в., инок Киево-Печерского монастыря.

«Под древними избами, в красном углу...» *Веды* — памятники древнеиндийской литературы, широко отразившие первобытную мифологию, обряды, философские и нравственные учения своего народа. *Илья-пророк.* По библейской легенде, пророк Илия ездил по небу на огненной колеснице; у русских крестьян образ этот слился с древним языческим божеством молнии и грома (Перуном).

«Шепчутся тени-слепцы...» *Царьград* — распространенное в Древней Руси название Константинополя, столицы Византии (ныне Стамбул).

⟨Из цикла «Спас»⟩. 1. *Я родился в вертепе, В овчем теплом хлеву.* По евангельской легенде, Иисус Христос родился в «вертепе» (или в пещере) в г. Вифлееме и был положен в ясли в овечьем хлеву. *По отцу-древоделу.* Согласно Евангелию, Иосиф, муж Марии, матери Христа, был плотником.

2. *Гвозди голгофские.* Голгофа — гора возле Иерусалима, где был распят Христос. *Распутин* (Новых) Г. Е. (1872—1916) — авантюрист, под видом «святого старца» проникший в придворную среду, где приобрел большое влияние. Распутинщина явилась выражением крайнего разложения

правящих верхов царской России. *Надовратный голубь* — изображение «святого духа» в виде голубя над «царскими вратами» (ведущими в алтарь) в церкви. *В белых яблонях без попов Совершается обряд господний.* Здесь выражено резко отрицательное отношение Клюева к официальной церкви, к «сытым кутейным», благословляющим распутинщину и человекоубийственную войну. Богу церковников поэт противопоставляет «мужицкого», деревенского Христа.

«Плач дитяти через поле и реку́...» *Мария* и *Марфа* — сестры Лазаря, упоминаемые в евангельской легенде о чудесном воскрешении Христом Лазаря из г. Вифании. Мария олицетворяла душу, в отличие от Марфы, преданной земным заботам.

«Я — древо, а сердце — дупло...» *Микулово слово.* Микула — см. с. 490.

«Счастье бывает и у кошки...» *Магазины Вольфа и Попова* — книжные магазины крупных дооктябрьских издательских фирм — товарищества М. О. Вольф и М. В. Попова. *Учусь... не в Дерптах.* Имеется в виду Дерптский (ныне Тартуский) университет в Эстонии, один из старейших в Европе.

«Вылез тулуп из чулана...» *Кашмир* — в прошлом княжество в Северной Индии.

«Где рай финифтяный и Сирин...» *Пушкин говором просвирен* и т. д. Имеется в виду высказывание Пушкина в его заметке «Опровержение на критики»: «...Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком». *Мей* Л. А. (1822—1862) — русский поэт, исторический драматург. *Велес* (Волос, Волот) — древнеславянский языческий бог, покровитель домашнего скота. *Аввакум* — протопоп, основатель старообрядчества (церковного раскола) и выдающийся древнерусский писатель. За борьбу против церковных нововведений патриарха Никона был заточен в острог в г. *Пустозерске* (Архангельского края) и в 1662 г. там же сожжен заживо. Мать Клюева была старообрядка, и поэт вел свой род от «палеостровских самосожженцев» — раскольников, последователей Аввакума.

«Олений гусак сладкозвучнее Глинки...» *Верлен* Поль (1844—1896) — французский поэт-символист, высоко ценимый Клюевым, чьи стихи он читал в подлиннике. *В куньем раю громыхает Чикаго.* Клюев считал Америку (США) страной, создающей наиболее пагубные для живой природы условия индустриального и экономического прогресса. В письме к поэту А. В. Ширяевцу от 19 ноября 1914 г. Клюев говорил: «О, матерь пустыня! рай душевный, рай мысленный! Как ненавистен и черен кажется весь так называемый цивилизованный мир, и что бы дал,

какой бы крест, какую бы голгофу понес — чтобы Америка не надвигалась на сизоперую зарю, на часовню в бору, на зайца у стога, на избу-сказку...» (ИМЛИ). *Сиринам в гнезда Париж заглянул.* Вероятно, намек на французскую авиацию. *Струнный Спас* — здесь: олицетворение музыки, поэзии. *Вельзевул* — сатана. *Руслан и Людмила* — одноименная опера М. И. Глинки.

⟨Из цикла «Поэту Сергею Есенину»⟩.

1. *Радуница* — название первой книги стихов С. Есенина (Пг., 1916).

2. Ст-ние навеяно идейно-творческими расхождениями Клюева и Есенина, которые наметились уже до Октября 1917 г. Подробнее см. во вступ. статье, с. 49. В эпиграфе к ст-нию приведена цитата из «Сказания об убиении царевича Димитрия» (в ответ на слова убийц царевич поднял голову и был зарезан). *Китоврас* — мифическое существо типа древнегреческого кентавра (получеловек-полуконь), персонаж сказания о Соломоне и Китоврасе. Вначале Китоврас помогал царю Соломону при постройке Иерусалимского храма и удивлял царя мудростью, но когда Соломон усомнился в силе Китовраса, тот забросил царя на край земли обетованной. С тех пор Соломон стал бояться Китовраса. Город *Углич* после смерти Ивана Грозного был отдан в удел вдове царя Марии Нагой и царевичу Димитрию. *Жертва Годунова... Убиенный Митрий.* Клюев сравнивает Есенина с Борисом Годуновым (ок. 1552—1605), ко-

торого народная молва обвиняла в убийстве малолетнего наследника престола, сына Ивана IV, Димитрия, а себя — с убитым царевичем. *Собор Успенский* — памятник русского зодчества (конца XV в.) в Московском Кремле.

3. Клюев здесь нападает на столичных литераторов, «бумагоедов», противопоставляя им творчество крестьянских поэтов — свое и Есенина. *Буки, Веди, Аз, Фита* — названия букв церковнославянской азбуки (Б, В, А, Ѳ). *До воскрешающей трубы* — т. е. до Страшного суда, когда будто бы должны восстать все мертвые. *Заря-котенок моет рот, На сердце теплится лампадка* — неточные цитаты из двух ст-ний Есенина: «Не бродить, не мять в кустах багряных. . .» и «Я странник убогий. . .». *Мы, как Саул, искать ослиц* — см. с. 493. *Коловрат* Евпатий — рязанский витязь, храбро бившийся с татаро-монголами; герой древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем». *Моздокский синь-туман.* Моздок — уездный город бывшей Терской губ. (ныне райцентр Северо-Осетинской АССР), жители которого занимались извозом. *Ты отдалился от меня.* Ст-ние, видимо, навеяно временной размолвкой с Есениным, до окончательного разрыва, и, возможно, написано раньше, чем предыдущее. *Горбунок* — сказочным коньком-горбунком Клюев называл Есенина. *Егорий* — см. с. 491.

З а с т о л ь н ы й с к а з. *Озерышко Ильмень* — Ильмень-озеро в Новгородской обл., опоэтизированное в былинах о Садко. *Святогор* — герой бы-

линного эпоса, могучий богатырь. *Соликамский бобер.* Соликамск — пристань на Каме. *На тебя ли ворог точит лезвие* и т. д. Имеются в виду неудачи России на фронтах первой мировой войны. *Бояновы сыны* — поэты.

Сказ грядущий. *Всеволод* — младший брат князя Игоря Северского, храбро сражавшийся с половцами; «Слово о полку Игореве» называет его «буй-туром». *Темный Василько* — Василий II Васильевич — великий князь Московский (1425—1462), был ослеплен галицким княжичем Дмитрием Шемякой; Василий II одержал ряд побед и способствовал укреплению Московской Руси. *Чурило* Пленкович — один из героев былинного эпоса, сын купца, богатырь-богач. *Александр Златокольчужный* — Александр Ярославич *Невский* (ок. 1220—1263), князь, выдающийся полководец и государственный деятель; был причислен церковью к сонму святых; на иконах изображался в золотой кольчуге. *Микулушка* — Микула, см. с. 490. *Радонежские Ослябя, Пересвет* — иноки-воины Троице-Сергиевой лавры (расположенной близ древнерусского города Радонежа), принимавшие участие в Куликовской битве. *Днепр Перунов.* Во времена языческой Руси на берегу Днепра стоял идол Перуна, бога грома и молнии.

Красная песня. Подражание русской марсельезе П. Л. Лаврова («Отречемся от старого мира. . .»). *Святогор* — см. с. 498. *Телец золотой*

(златой) — выражение, заимствованное из Библии, в переносном значении — власть золота, богатство. *Китеж-град* — легендарный древний город, будто бы погрузившийся во время татаро-монгольского нашествия (XIII в.) в озеро Светлояр (ныне Воскресенский р-н Горьковской обл.). По народной легенде, в тихую погоду якобы можно услышать звон китежских колоколов и увидеть утонувший город. Предание о Китеже оставило след в фольклоре, литературе XIX—XX вв. и живописи. На его основе создана опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». *Саров* — Саровская пустынь, монастырь в бывшей Костромской губ., местопребывание известного проповедника-монаха Серафима Саровского.

Песнь Солнценосца. В ст-нии отразились расплывчатые идеи группы «Скифы», к которой Клюев примыкал в 1916—1917 гг., — стремление сочетать социализм с неонародничеством, неохристианством, со славянофильской верой в мессианскую роль России. *Монблан* — самая высокая вершина Альпийских гор. *Назарет* — город в Палестине, где, по евангельской легенде, прошло детство Христа. *Немврод* (Нимврод) — по библейской легенде, человек, наделенный особенной силой; употреблял ее к порабощению людей и стал основателем Вавилонского царства, обреченного богом на гибель. *«Вставай, подымайся, рабочий народ»* — по-

пулярная в то время революционная песня. *«Зелен мой сад»* — неточная цитата из народной лирической песни: «Зеленейся, зеленейся, мой зелен сад в огороде. . .». *Рублевская Русь* — Русь эпохи живописца Андрея Рублева (ок. 1360—1370 — ок. 1430). *Волхов-гусляр.* Волхов — река, вытекающая из оз. Ильмень, с которым связано действие былины о гусляре *Садко. Моздокский туман.* Моздок — см. с. 498. *Стенькин курган* — место на берегу Волги, название которого связано с преданиями о Степане Разине. *Мста* — река, впадающая в оз. Ильмень.

«Мужицкий лапоть свят, свят, свят! . .» *Птица золотая* — сказочная жар-птица. *Вселися в ны и обожи* (слав.) — вселись в нас и сделай причастными божьей благодати.

«Из подвалов, из темных углов. . .» *Чтоб увидеть всё небо в алмазах* — реминисценция из пьесы Чехова «Дядя Ваня»: «. . .мы увидим все небо в алмазах» (слова Сони). На *Марсовом поле* (одной из центральных площадей Петрограда) 23 марта (5 апреля) 1917 г. были погребены революционные рабочие и солдаты, погибшие в дни Февральской революции.

«Вечер ржавой позолотой. . .» Датируется по книге регистрации рукописей редакции «Ежемесячного журнала», куда поступило 20 января 1918 г. вместе с двумя другими ст-ниями

(«В избе гармоника...» и «На божнице табаку осьмина...») под общим названием «Республика» (регистрационный номер — 5384; под этим номером ст-ние обнаружено в архиве В. С. Миролюбова — ПД). *Ковчег.* По библейской легенде, ковчег Ноя причалил к горе *Арарат* (на Кавказе).

«В избе гармоника: „Накинув плащ с гитарой...“» *«Накинув плащ, с гитарой под полою...»* — начало популярного романса, песенный вариант ст-ния В. А. Сологуба (1813—1882) «Серенада». *Вольга* — см. с. 488. *Мемелфа Тимофеевна* — в былинах новгородского цикла мать Василия Буслаева. *Божниц рублевский сон.* Андрей Рублев — см. с. 501. *Владимир Залесский.* Видимо, речь идет о Владимире и Переславле-Залесском (бывшей Владимирской губ.), где было много церквей и монастырей, привлекавших религиозных паломников.

«Я — посвященный от народа...» *Мекка* — город на западе Саудовской Аравии, место паломничества мусульман. *Все племена в едином слиты.* В критике 1920-х годов справедливо отмечалось, что «революцию он ⟨Клюев⟩ воспринял с точки зрения вещной, широкогеографической пестрословности. «Интернационал» поразил его воображение возможностью сблизить лопарскую вежу и соломенный домик японца, Багдад и Чердынь» (Вс. Рождественский, Рец. на поэму Клюева «Мать-Суббота». — «Книга и революция», 1923,

№ 2/26, с. 62). *Эрзерум* (правильней: Эрзурум) — город в северо-восточной Турции. *Не Ярославна рано кычет на забороле.* Ярославна — супруга князя Игоря, героиня «Слова о полку Игореве». В ст-нии перефразировано описание плача Ярославны из «Слова»: «...зегзицею незнаема рано кычеть... Ярославна рано плачет в Путивле на забороле...» *Левиафан* — огромное морское чудовище, упоминаемое в Библии. *Молох* — в религии древних народов (Финикии, Карфагена и др.) бог солнца, которому приносились человеческие жертвы; в переносном значении — олицетворение жестокой беспощадной силы. *Ваал* — древневосточное божество, культ которого был распространен в Финикии, Сирии и Палестине во II и I тысячелетиях до н. э. *Валаам* — остров на Ладожском озере, где находился Преображенский монастырь (основан в XII—XIV вв.).

Труд. *«Война и мир»* — роман Л. Н. Толстого. *Шиллер* Фр. (1759—1805) — немецкий поэт-романтик.

Из «Красной газеты». 1. *«Красная газета»* — выходила в Ленинграде в 1918—1939 гг. *Искариотский путь* — предательский путь; от имени Иуды Искариота, который, по евангельской легенде, предал своего учителя Христа. *Христос отдохнет от терновых иголок.* Распятый Христос изображался в терновом венце. *Разин* С. Т. (ум. 1671) — вождь крестьянского восстания (1667—

1671 гг.). *Перовская* С. Л. (1853—1881) — революционерка, одна из руководителей «Народной воли»; принимала участие в покушении на царя Александра II 1 марта 1881 г.; казнена 3 апреля 1881 г.

2. *Черные белогвардейцы* — имеется в виду контрреволюционно настроенное духовенство. *Романовский дом* — династия царей Романовых. *Распутин* — см. с. 494.

⟨В л а д и м и р у К и р и л л о в у⟩. *Кириллов* Владимир Тимофеевич (1890—1943) — пролетарский поэт. Клюев встречался с ним в Петрограде в 1918 г. *Твое прозвище — русский город.* Речь идет о г. Кириллове Вологодской обл. *Азбучно славянский святой.* Фамилия «Кириллов» ассоциируется у Клюева также со славянской азбукой «кириллицей», названной так по имени болгаро-византийского ученого и славянского просветителя середины IX в. Кирилла (или Константина-Философа). *Гастев* А. К. (1882—1941) — общественный деятель, пролетарский поэт, воспевавший завод и машинный труд. *Марат, разыгранный понаслышке* — пьеса Антона Амнуэля (псевдоним Николаева Н. С.) «Марат — Друг народа»; в 1918—1919 гг. ставилась в провинциальных театрах, клубах (опубликована в пролеткультовском журнале «Грядущее», Пг., 1919, № 5-6).

⟨И з ц и к л а «Л е н и н»⟩. Большинство ст-ний этого цикла написано в 1918 г. Тогда же у Клюе-

ва возник замысел книги стихов «Ленин». Эскиз обложки, сделанный рукой автора, хранится в ГПБ. В книгу должен был также войти цикл «Певчая руга» (эскиз титульного листа — там же). Цикл «Ленин» был опубликован полностью в двухтомнике Клюева «Песнослов», кн. 2 (Пг., 1919). В 1921 г. Клюев отдельно переплел эти стихи и передал их Н. К. Крупской через Н. И. Архипова, делегата IX Всероссийского съезда Советов (см.: А. К. Грунтов, Материалы к биографии Н. А. Клюева. — «Русская литература», 1973, № 1, с. 125). В личной библиотеке В. И. Ленина в Кремле хранятся также книги Клюева «Избяные песни» и «Песнь Солнценосца. Земля и железо» (оба изд. — Берлин, 1920). См. кн.: «Библиотека В. И. Ленина в Кремле», М., 1961, с. 497. Книга Н. Клюева «Ленин» вышла тремя изданиями в 1923—1924 гг. (М.—Пг.) и состоит из двух разделов: «Багряный Лев» (т. е. цикл «Ленин») и «Огненный лик», в который вошли некоторые ст-ния 1918—1919 гг.

1. О трактовке в этом ст-нии образа Ленина см. во вступ. статье, с. 58. *Керженец* — река в Нижегородской (ныне Горьковской) обл. Прежде этот район был известен старообрядческими поселениями. *«Поморские ответы»* — полемическое сочинение старообрядческого писателя Андрея Денисова (1664—1730), одного из главных вождей раскола в XVIII в. *Церковь — не наймит казенный.* Имеется в виду декрет Советской власти об отделении церкви от государства. *Стопа Иоанна.* Речь идет о московском великом князе Иване III (1462—

1505), при котором произошло окончательное освобождение России от татаро-монгольского ига (1480). *Борис, златоордный мурза* — царь Борис Годунов (1598—1605); он был татарского происхождения. *Иван Великий* — колокольня в Московском Кремле, надстроенная при Борисе Годунове (1600). *Коневец* — остров на Ладожском озере.

2. *В поддевке синей пурговой, В испепеляющих сапогах.* По-видимому, намек на распутинщину как предвестье гибели царизма (ср. на с. 320: «Распутин на антиминсе пляшет в жгучих, похотливых сапогах»). *Въехали гробные дроги в мертвый романовский дом.* По постановлению Уральского областного совета, Николай II Романов с семьей был расстрелян 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге (ныне Свердловск) в связи с приближением к городу войск Колчака и белочехов.

3. *Ай-кюмерки* — возможно, эскимосское божество. *Скрежет биржи, словаки.* Имеются в виду злобные выпады мировой буржуазии против молодой Советской республики и контрреволюционный мятеж белочехов в 1918 г.

4. *«Последний, решительный бой»* — слова припева из международного пролетарского гимна «Интернационал» (русский текст А. Я. Коца). *Великий Сфинкс* — имеется в виду большая древняя статуя сфинкса возле Гизы (Египет). *Умбрия* — область в Северной Италии. *Люди с Естью, Наш, Иже, Ер* — названия букв церковнославянской азбуки, образующих слово «Ленин».

«Революцию и Матерь света...» *Пошехонье* — местность в Ярославской губ.

«Зурна на зырянской свадьбе...» *Микула* — см. с. 490. *Калевала* — финский и карельский национальный эпос.

Гимн Великой Красной Армии. *Жернов горя С Архангельском Кавказ.* Подразумевается иностранная интервенция против молодой Советской республики: высадка на Севере англо-франко-американского десанта, после чего в августе 1918 г. был захвачен Архангельск; вторжение (с августа 1918 г.) английских, а затем и германо-турецких войск в Закавказье. Вопиющим фактом террора оккупантов явилась казнь 26-ти бакинских комиссаров (в сентябре 1918 г.). *Кивач* — водопад на реке Суна Карельской АССР. *Олонец* — город бывшей Олонецкой губ., ныне райцентр Карельской АССР.

«Огонь и розы на знаменах...» *В красноармейских эшелонах* и т. д. Клюев напутствовал красноармейцев, отправляющихся на фронт из его родного города, в статье «Красный набат»: «Молодой воин, куда идешь ты? Я иду сражаться за избавление братьев моих от угнетения, — разбить их оковы и оковы мира. Я иду сражаться против неправедных людей за тех, кого они бросают на землю и топчут ногами, против господ за рабов, против тиранов за свободу... Я иду сражаться

за то, чтобы каждый мог пользоваться с миром плодами труда своего; иду осушить слезы малых детей, которые просят хлеба... Да будет благословенно оружие твое, молодой воин!» («Звезда Вытегры», 1919, 4 июня). *Нумидийская... слава.* Нумидия — древнее государство в Северной Африке (на территории современного Алжира); существовало с III в. до н. э. по VI в.

Ловцы. *Ваши черны корабли... Наш буреломен баркас.* Клюев противопоставляет здесь обреченным «черным» силам близкие к осуществлению вековые народные мечты о воле.

Красные незабудки. *Стальноклювый гость из Парижа* и т. д. Речь идет об использовании авиации державами Антанты против молодой Советской республики. Париж, по-видимому, упомянут в связи с тем, что Франция в конце первой мировой войны первенствовала в авианалетах на тылы противника.

«Чернильные будни в комиссариате...» *Память расстрелянных рабочих.* По-видимому, речь идет о дне памяти жертв Ленского расстрела 23 марта (5 апреля) 1912 г., так как ст-ние было опубликовано в № 47 журнала «Пламя» (от 30 марта 1919 г.).

«Братья, мы забыли подснежник...» *Филаретовых риз.* Филарет — Федор Никитич Романов (1550-е — 1633) — патриарх московский и

всея Руси (1619—1633), отец царя Михаила Романова. *Купало* — день Ивана Купалы (24 июня ст. ст.). *Красная горка* — первая послепасхальная неделя, время свадеб и поминовения родителей.

«Блузник, сапожным ножом...» *На валдайском ямщицком небе.* В г. Валдае в XVIII—XIX вв. процветал промысел по изготовлению знаменитых валдайских ямских колокольчиков.

«Маяковскому грезится гудок над Зимним...» В ст-нии Маяковского «Радоваться рано» (1918), с которым полемизирует Клюев, сказалась недооценка классического художественного наследия. Однако Клюев ставит в вину Маяковскому другое — проповедь индустриально-технического развития, в чем поэт был прав, тогда как Клюев занял в этом вопросе ложную позицию защиты патриархальной старины. Начало его ст-ния имеет в виду след. строку Маяковского: «Дым развейте над Зимним — фабрики макаронной!» *Сапоги с набором* — с мелкими поперечными складками на голенищах. *Соловей-разбойник* — персонаж былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». *Маркони* — итальянский ученый, изобрел радио одновременно с А. С. Поповым. *«Изобразительные искусства».* Маяковский в 1918—1919 гг. активно сотрудничал в органе Отдела изобразительных искусств Наркомпроса газете «Искусство коммуны» (там было опубликовано и ст-ние «Радоваться рано»). *Свете тихий* — слова церковного песнопения. *Простой, как мычание, и облаком в*

штанах казинетовых. Здесь перефразированы названия сборника ст-ний Маяковского «Простое, как мычание» (1916) и поэмы «Облако в штанах» (1915).

«Брезг самоварной решетки...» *Багряный Адам* — в стихах Клюева символ нового человека, рожденного революцией (ст-ние под названием «Красный Адам» было опубликовано в «Звезде Вытегры», 1919, 24 апреля). *Пресня* — улица в Москве, на которой происходили баррикадные бои во время Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. *Таити* — архипелаг в южной части Тихого океана.

«В степи чумацкая зола...» Написано в период сближения Есенина с литературной группой имажинистов и разрыва его с Клюевым. Близость Есенина к имажинизму — формалистическому течению в литературе первых лет Октября — Клюев считал вредной для поэта. Однако, призывая его сосредоточиться в своем творчестве исключительно на мире «избяной» России, Клюев объективно тянул Есенина назад, к пройденному им этапу развития. *«Кобыльи корабли»* — поэма Есенина (1919), в которой сказалось влияние имажинизма. *Коловратовы поля.* Имеется в виду Рязанский край, родина Есенина (Коловрат — см. с. 498). *Мариенгоф* А. Б. (1897—1962) — поэт-имажинист, друг Есенина; группа имажинистов в те

годы выступала в московском литературном кафе «Стойло Пегаса». *Голгофы* — здесь: христианские святыни (см. с. 494). *Иудины осины.* Согласно народному поверью, Иуда Искариот (см. с. 503) повесился на осине после казни Христа. *Имажинистские цветы* — подразумевается творчество поэтов-имажинистов. *Голубень* и *Трерядница* — книги стихов Есенина (1918—1920). *Песнослов* — двухтомник ст-ний Клюева (1919).

«Древний новгородский ветер...» *В стране холмогорской* и т. д. Речь идет о Холмогорском уезде Архангельской губ., месте рождения М. В. Ломоносова. *Брама* (Брахма) — один из высших богов в индийских религиях — брахманизме и индуизме. *Медина* — город на западе Саудовской Аравии, где находится гробница *Магомета. Таити* — см. с. 510. *Карнак* — селение в Верхнем Египте, возле которого находятся руины знаменитых древнеегипетских храмов.

«Свет неприкосновенный, свет неприступный...» *Олонец* — см. с. 507.

«У соседа дочурка с косичкой...» *Вольгова домбра.* Вольга — см. с. 488.

«Придет караван с шафраном...» *Харран* (Карры) — древний город в Месопотамии, большого торгового и стратегического значения; упоминается в Библии как местопребывание Ав-

раама, откуда он направился в Палестину (ныне — небольшой город в Турции). *Каин* — по библейской легенде, убийца родного брата Авеля. *Повенец* — Повенецкий залив на севере Онежского озера и поселок Повенец в том же районе. *Ницца* — город на юге Франции.

Гитарная. *Купало* — см. с. 509.

Богатырка. *Богатырка* — красноармейская шапка-буденовка, род суконного шлема с красной звездой спереди. *Буг* — подразумевается река Западный Буг. *Осьмилеток.* Ст-ние, датированное декабрем 1925 г. (автограф ГЛМ), очевидно, приурочивалось к 8-й годовщине Октябрьской революции. *Вайгач* — советский остров к югу от Новой Земли. *Моздок* — см. с. 498.

Новые песни. 1. *«Трансваль»* — популярная в России песня «Трансваль, Трансваль, страна моя. . .» — о борьбе буров за свою независимость в период англо-бурской войны 1899—1902 гг. Трансвааль — название государства буров. *Марсово поле* — см. с. 501. *Володарский* В. (1891—1918) — член Президиума ВЦИК, комиссар по делам печати и пропаганды; 20 июня 1918 г. был убит правыми эсерами; похоронен на Марсовом поле. *Морава* — река в Чехословакии. *Рим семихолмный.* Основная часть города Рима расположена на семи холмах. *Хмурое море* — Балтийское море.

2. *Татьянина усадьба.* Речь идет об усадьбе Татьяны Лариной, героини «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

Дружба. *Степанко-бог* — шаман или знахарь у коми-пермяков, которые, несмотря на официально принятое православие, сохраняли языческие верования и обряды.

Корабельщики. *Перед избушкой две рябины* — реминисценция из Пушкина («Отрывки из путешествия Онегина»).

«Баюкало тебя райское древо...» *Давид* — полулегендарный царь иудейского государства (конец XI — нач. X в. до н. э.); в Библии говорится о том, что он хорошо играл на арфе; Давид считался автором псалмов. *Обухова* Надежда Андреевна (1886—1961) — оперная певица, народная артистка СССР. *Любаша* — героиня оперы Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста», партию которой исполняла Обухова. *Марфа* — героиня оперы М. П. Мусоргского «Хованщина», роль которой также исполняла Обухова. *За дымом да слезами горькой панихиды.* В опере «Хованщина» показано самосожжение раскольников, среди которых погибает и Марфа. *В Костромском да Рязанском крае* — в этих местах до Октября и позднее проживало много раскольников-сектантов.

И ответствует нам краса Любаша. Эта героиня также трагически погибает. *Хвалынское дно* — см. с. 488.

⟨Из цикла «Стихи из колхоза»⟩. *Китоврас* — см. с. 497. *Суда* — река в Вологодской обл. *Лаба* — река в Краснодарском крае.

«По жизни радуйтесь со мной...» *Волчок* — по-видимому, кличка собаки.

«Чтоб пахну́ло розой от страниц...» *Суламифь* — героиня библейской книги «Песнь Песней», возлюбленная царя Соломона.

⟨Из цикла «О чем шумят седые кедры»⟩. *Яр-Кравченко* Анатолий Никифорович (р. в 1911) — народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, знакомый Клюева с 1928 г.

1. *Плат по бровь* — реминисценция из ст-ния Блока «Россия» («Да плат узорный до бровей...»).

2. *Перс священному огню.* Речь идет о персах-огнепоклонниках, или парсах, исповедовавших древнюю религию — парсизм. *Микула* — см. с. 490. *Гавриил* — см. с. 489.

3. *Пятьдесят* лет Клюеву исполнялось в 1934 г. *Гаданье по сотам* — в холодную воду выливался расплавленный воск, принимавший в ней разнообразные причудливые очертания.

ПОЭМЫ

Мать-Суббота. *Николай Ильич Архипов* (1887—1967) — друг Клюева, член РКП(б) с 1919 г.; в 1919—1923 гг. был сотрудником вытегорской районной газеты («Звезда Вытегры», «Трудовое слово»), где печатался Клюев; в 1920 г. организовал в г. Вытегре кружок «Похвала народной песне и музыке», издавший в 1920 г. книгу стихов Клюева «Неувядаемый цвет»; в 1924—1937 гг. Архипов был директором петергофских музеев и парков; после войны — музейный работник, искусствовед. *Егорий* — см. с. 491. *Фрол, Медост, Пантелеймон* — православные святые; по крестьянским поверьям, покровители домашнего скота (в день Фрола и Лавра, 18 августа по ст. ст., купали и кропили святой водой лошадей). Медост — см. с. 491. Св. Пантелеймон, по народным поверьям, считался врачевателем ран (день его памяти был 27 июля ст. ст.). *Илья* — см. с. 494; с погодой в Ильин день (20 июля ст. ст.) связывались виды на урожай, сроки окончания тех или иных полевых работ. *Крест соловецкий* — см. с. 488. *Иван Калита* — Иван I Данилович (ум. 1340), князь Московский, сыгравший большую роль в собирании вокруг Москвы раздробленных русских зе-

мель. *Кони Ильи* — см. примеч. к ст-нию «Под древними избами в красном углу...» *Одигитрия* (греч.: «путеводительница») — под этим названием известно несколько икон богоматери, считавшихся чудотворными. *Крылья Софии* — св. София изображалась на иконах с крыльями. *Попрание врат* — традиционное изображение на старинных иконах воскресения Христа «через сошествие во ад», где он попирает две сорванные с петель и крестообразно сложенные двери ада. *Дух* и *Невеста* — святой дух, изображавшийся на иконах в виде голубя, и дева Мария. *Царица* — здесь: богоматерь. *Распятый Лебедь и Роза над ним* — символы распятия Христа и крови его (такое значение алой розе придавали некоторые христианские писатели-монахи на Западе). *Савское миро* — из Савы, легендарной библейской страны, находившейся (предположительно) в Южной Аравии. *Елеон* — Елеонская (или Масличная) гора возле Иерусалима; по евангельской легенде, Христос с этой горы вознесся на небо. *Лапоть Исхода.* «Исход» — название одной из книг Библии. *Суббота Живых.* По-видимому, имеется в виду Лазарева суббота на шестой неделе великого поста; евангельскую легенду о чудесном воскрешении Лазаря Христом церковь истолковывала как пророчество о будущем воскрешении всех умерших. *Мельхиседек* — по христианскому толкованию Ветхого завета, считался прообразом Христа. *Креститель Иван* — см. с. 490. *Китеж* — см. с. 500. *Мемелфа* — христианская великомученица. *Образок Купины*—икона богоматери (купина — в Библии—

куст, горящий чудесным огнем; по христианскому вероучению — символ богоматери). *Палеостров* — остров Палей на Онежском озере, где находился Рождественский монастырь (основанный, по преданиям, в XII в.). *Выга* — Выговская старообрядческая община, или пу́стынь, в *Заонежье,* на реке Выг (конец XVII — середина XIX в.). *Кижи* — остров и старинное поселение на Онежском озере, где сохранились выдающиеся памятники русской деревянной архитектуры конца XVII—XVIII в. — Покровская и Преображенская церкви. *Соловки* — см. с. 488. *Суббота опосле Креста* — Страстная суббота (перед Пасхой). *Камень привален, и плачущий Петр* и т. д. Ближайший ученик Христа апостол Петр в момент осуждения Христа на казнь, по евангельской легенде, отрекся от него, а после снятия с креста, когда тело казненного было отнесено в пещеру, приваленную камнем, каялся и плакал. *Потным платом Вероники.* По евангельской легенде, св. Вероника дала плат изнемогавшему под крестной ношей Христу, чтобы он отер пот с лица; на платке будто бы отпечатался его лик. *Кана* — местность в древней Галилее, где, по евангельской легенде, Христос сотворил первое чудо, превратив воду в вино.

Из поэмы «Плач о Сергее Есенине». Отрывки напечатаны были Клюевым в «Красной газете» (1926, 28 декабря) со след. примеч. редакции: «Полностью поэма выходит отдельной книжкой в изд. «Прибой» со вступительной статьей П. Н. Медведева». Эпиграф — четверостишие Клю-

ева (см. статью П. Н. Медведева «Пути и перепутья Сергея Есенина». — В кн.: Н. Клюев и П. Н. Медведев. Сергей Есенин, Л., 1927, с. 86). *Помяни, чертушко, Есенина.* По догматам православной церкви, самоубийство считалось грехом; наложивших на себя руки не отпевали и не поминали в церкви. *Пришел ты из Рязани.* Есенин родился в селе Константиново Рязанской губ. *Платочком бухарским.* Шелковые платки из Бухары славились яркой расцветкой.

Заозерье. В поэме речь идет о старой дооктябрьской заонежской деревне; об этом свидетельствует и посвящение матери поэта (см. примеч. к ст-нию «Ноченька темная, жизнь подневольная. . .», с. 489), уроженке Заонежья. *Егорьев день* — 6 мая (23 апреля ст. ст.). *Поморские письма* — стиль русской иконописи на Севере. *Велес* — см. с. 496. *Гостомысл* — по летописным преданиям, легендарный новгородский посадник IX в. *Купальница Аграфена* — день св. Агриппины, 6 июля (23 июня по ст. ст.), канун Ивана Купалы; в эти дни в северных губерниях начинали купаться. *Дождевой Илья* — Илья-пророк см. с. 494. *Федосья-колосовица* (Колосяница) — день 11 июня (29 мая), когда начинают колоситься хлеба. *Медост* — см. с. 491. *Велят двуперстьем креститься.* Федосья и Медост — святые, которых чтили раскольники, крестившиеся двумя перстами. *Фрол* и *Лавр* — святые, считавшиеся покровителями лошадей. *Никон* — московский патриарх в 1652—1658 гг., церковные реформы которого послужили

причиной раскола. *Колядный пост* — пост накануне Рождества. *Сиам* — ныне Таиланд, государство на полуострове Индокитай. *Ирбит* — город на Урале, где в старину лили церковные колокола. *Суздальский звон.* Суздаль славился большим количеством церквей и монастырей. *Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ* — цитата из молитвенного пасхального песнопения.

СЛОВАРЬ[1]

Агнчий — от слова «агнец» (ягненок).

Адамант — алмаз, бриллиант.

Аир — болотное растение, используемое как лекарственное.

Аксамитный — бархатный.

Алажки — оладьи.

Алевастр — сосуд для благовоний.

Алконост — сказочная птица с человеческим лицом, изображавшаяся на лубочных картинках; в апокрифах и сказаниях — птица печали.

Амвон — возвышение в церкви, род кафедры, откуда произносились проповеди.

Антиминс — освященный плат с изображением положения во гроб Христа; кладется на церковный престол во время причастия.

---

[1] В словарь включен также ряд общераспространенных слов, употребленных Клюевым в необычном — архаическом или местно-диалектном — значении.

Артос — хлеб, освященный в церкви на Пасху и раздаваемый народу на Фоминой (первой послепасхальной) неделе.

Архистратиг — военачальник; в христианской мифологии архистратиг — предводитель небесного воинства, которым считался архангел Михаил.

Аспид — ядовитая змея.

Бармы — принадлежность парадного наряда московских князей и царей, надевались на плечи.

Баско — красиво.

Басма — грамота с печатью татарских ханов Золотой Орды.

Батог — палка (или прут); служила для телесного наказания.

Батыри — богатыри.

Безудный — скопец.

Белица, беличка — монастырская послушница, готовящаяся принять постриг.

Белояровый — чистый, отборный.

Беляна — деревянная баржа для сплава лесоматериалов по Волге и Каме.

Бердо, бердище — принадлежность ткацкого станка, род гребня с зубьями.

Березовая губа — род гриба, нарост на березовых пнях.

Бересклет — кустарниковое растение.

Бересто — верхний слой березовой коры.

Било — доска, в которую били для оповещения о времени или о сборе на церковную службу.

Бирюч — глашатай.

Благосенный — тенистый, дающий прохладную тень.

Блесня — блеск; блестящие украшения.

Бобчатый — внешне похожий на боб.

Божница — полка или подвесной ящик со стеклом для икон.

Братина — кружка, большой бокал, из которых пили вкруговую.

Брашно — пища, угощенье.

Брезг — начало утренней зари, рассвета.

Брилянтин — брилиантин, шерстяная ткань с атласистым лоском.

Буза — хмельной напиток типа браги у татар и других народностей.

Буланый — светло-желтый, сероватый (о конской масти).

Бунчук — знак отличия украинских гетманов и казачьих атаманов; древко с шаром и конским хвостом на верхнем конце.

Бур — представитель южно-африканской народности, происходящей от потомков голландских поселенцев XVII в.

Бурмитчатый — расшитый жемчугом.

Бурнастый — хохлатый или мохноногий (о птицах).

Бурнус — род женского пальто.

Вальц-плезир — название вальса; плезир (фр.) — удовольствие.

Варенец, варенуха — хмельной напиток из навара водки и меда, на ягодах и пряностях.
Ведун — волшебник, колдун, знахарь.
Вежа — шалаш, палатка.
Вежда — веко.
Веприца — дикая свинья, самка вепря.
Вервии — веревки.
Веретно — веретено.
Верижница — носящая вериги (род цепей или колец, надевавшихся на тело подвижниками веры для «умерщвления плоти»).
Вертоград — сад.
Верша — рыболовная снасть из прутьев.
Ветрило — парус.
Ветье — ветки.
Вече — народное собрание в Древней Руси, являвшееся высшим органом власти в некоторых городах-государствах в X—XV вв. (Новгород, Псков и др.); вечевой колокол созывал народ на вече.
Вечеря — ужин.
Взятка — собранный пчелой мед.
Вигвам — жилище индейцев в лесах Северной Америки.
Вилавый, вилявый — извилистый, изогнутый.
Виноград, виноградье — сад.
Виссон — дорогая льняная ткань, тончайшее полотно.
Витлюк — болотная птица.
Власяница — грубая рубашка из конского волоса или козьей шерсти, которую верующие носили с целью «истязания плоти».

Водяник — водяной.
Водяница — утопленница из крещеных.
Волвянка — съедобный гриб.
Волжоная — луженая.
Волхвованье — волшебство.
Втымеж — в ту пору, в то время.
Вурдалаки — по старинным поверьям славянских народов, мертвецы, выходящие из могил и высасывающие кровь у людей.
Вывод — печная труба.
Выжлец — гончий пес.

Гага — северная морская птица из семейства утиных.
Гайтан — шнурок, на котором носили нательный крест.
Гамаюн — сказочная райская птица с женским лицом и грудью; в апокрифах и духовных стихах — «птица вещая».
Гарище — пепелище, пожарище.
Гарус — шерстяная пряжа, применяемая для вышиванья, вязанья и выделки грубых тканей.
Гасник — ремень, шнур, тесьма для штанов.
Гелиотроп — садовый душистый цветок лиловой окраски.
Глазет — сорт парчи с золотыми и серебряными узорами.
Гоголий — гордый, статный (от выражения «ходить гоголем», т. е. щеголем).
Гоголиная масть — темно-серая, напоминающая цветом дикую утку-гоголя.

Горний — находящийся в вышине, в небе.
Гостиный сын — сын купца (гость в Древней Руси — купец).
Гостьба, гостибье — угощенье, потчеванье.
Грай — птичий крик, карканье.
Гривна — крупная серебряная монета (позднее — 10 коп.); использовалась как украшение и носилась на шее в виде медальона.
Гридня — комната, покой.
Громный — подобный грому; небесный, пророческий.
Грудок — пастушеский рожок изогнутой формы.
Грызь — грыжа; боль, ломота.
Грядка — подвесная жердь или ряд жердей в избе (от стены к стене) для вешания одежды, березовых веников и проч.
Гуж, гужина — ременная часть упряжи.
Гурт — перегоняемое стадо скота.
Гусак — ливер, грудные потроха с печенью.

Деревинка — одинокое дерево.
Десница — правая рука.
Долгушка — шапка с длинными ушами.
Домовиха — то же, что хозяйка в крестьянском доме, стряпуха.
Домовище — гроб.
Доможирец, доможирщик — домочадец.
Досюль — до этих пор, раньше.
Досюльный — прежний, давнишний.
Дребезда — местное название озерной птицы.
Дружка — главный распорядитель на свадьбе или второй по чину со стороны жениха.

Духмяный — душистый, пахучий.
Душица — луговая трава или лесная мята.
Дымник — отверстие в потолке или стене так называемой черной избы для выхода дыма.

Ендова — широкий сосуд (ковш) с носиком для разливания напитков.
Епанча — длинный безрукавный широкий плащ.
Епитрахиль — часть облачения священника, надеваемая на шею.

Жадобный — желанный, милый, любимый.
Жалеечный — от слова «жалейка» (дудка, свирель).
Жарник — топка в печи, где раскладывается огонь.
Жаровый пень — сухостойный.
Желна — большой черный дятел.
Жировать — кормиться, жить припеваючи, беззаботно.
Жупел — в церковнославянской письменности — горящая сера в аду, в народном языке: пугало, нечто, внушающее страх и отвращение.
Журавик — леший, обитающий на болоте, где растет журавина (клюква).

Зааминить — от слова «аминь» (чтобы оградиться от «нечистой силы», крестились, приговаривая: «аминь, аминь, рассыпься»).
Заборало — забор, городская стена.
Заволока, паволока — дорогая ткань иноземной выделки.

Загозынька, зегзица — кукушка.
Загозье лыко — лесное растение.
Загуменье — место за гумном, задворки.
Зажалковать — загрустить, сокрушаться о чем-либо.
Зазимки, зазимье — заморозки, начало зимы.
Залавица, залавочка — лавка, скамья вдоль стены.
Замураветь — порасти травою.
Запашка — начатая пашня.
Заранка, заранок, заранье — раннее утро, рассвет.
Зареветь, зареть — гореть ярким пламенем, ярко светиться.
Зарноокий — с огненными, как зарница, очами.
Зарный — подобный зареву или зарнице; огненный, пылкий.
Заруделый — замаранный, запачканный.
Зарянец — самоцветный алый камень.
Заставка — орнамент, рисунок в ширину страницы в начале книги или главы; заставками украшались старинные рукописи.
Захолонуть — остыть, оцепенеть.
Звонница — колокольня в виде каменной или деревянной арки с подвешенными к ней колоколами.
Здынуться — подняться, вздыматься.
Зель — молодая озимь.
Зернь — мелкие зерна (мак, горох и др.).
Златница — золотая монета.
Зой — зык, вопль, стон, шум; жужжанье насекомых.
Золотарь — позолотчик по дереву.
Зурна — духовой деревянный музыкальный ин-

струмент, распространенный у народов Кавказа.

Зыбель — качель, колыханье.

Зыряне — старое название народа коми.

Зябель — холод, стужа.

Игумен — настоятель мужского монастыря.

Иссопный — от названия травы «иссоп» («синий зверобой»).

Казинет — полушерстяная гладкая ткань.

Калика — убогий странник, собиравший милостыню пением духовных стихов.

Камень-зель — изумруд.

Камилавка — черная шапочка, носимая монахами под клобуком (см.).

Камлот — плотная шерстяная ткань.

Камчатый — сделанный из камки, шелковой китайской ткани с разводами.

Канифас — льняная полосатая ткань.

Канон — церковная песнь в честь какого-либо святого или же праздничного дня.

Карбас — беломорская промысловая лодка на 4—10 весел, с двумя парусами.

Каргопольская лешня — жители лесного Каргопольского уезда бывшей Олонецкой губ. (ныне Каргопольский район Карельской АССР).

Карнак — ансамбль храмов в Древнем Египте, центральное святилище страны эпохи Фиванского царства.

Каурый — светло-бурый.

Керенки — быстро обесценившиеся бумажные деньги, выпущенные в 1917 г. Временным правительством при премьер-министре А. Ф. Керенском.

Кика — женский крестьянский головной убор.

Киноварь — ярко-красная краска.

Киса́ — мошна, кошель.

Кистень — старинное разбойничье оружие: тяжелый набалдашник на короткой рукоятке или гиря на ремне.

Кладенец — булатный меч.

Кладочки — деревянные мостки.

Клир — хор певчих.

Клирошанка — богомолка, поющая в церкви (клирос — место для певчих в церкви).

Клобук — род головного убора монахов наподобие колпака, надевавшийся поверх камилавки (см.).

Клякс-папир — промокательная бумага.

Кокора — бревно с корнем в виде клюки.

Колоб — круглый пирог с толокном.

Колода, колодовый гроб — долбленый гроб из цельного куска дерева.

Коляда, колядованье — обряд хождения по домам на рождество, святки и новый год для сбора подарков.

Корба — лесная чаща, чащоба.

Корец — ковш.

Короб — сводчатое помещение из бревен, а также небольшой сундук, ящик, сплетенный из прутьев или дранок.

Корпия — ветошные нитки, используемые как перевязочный материал.

Косулить — пахать сохой-косулей.

Косуля — вид сохи, отваливающей землю только на одну сторону.

Кошница — корзина, плетенка.

Крапица — резное украшение на дереве (зарубки по нему).

Красик — гриб подосиновик.

Краснорядец — купец, торгующий в красном ряду (где продавалась мануфактура).

Красный, красовитый — красивый.

Крестцы — кости из сросшихся позвонков, входящие в состав таза, а также способ кладки снопов сена, положенных в основание стога.

Кривошип — деталь кривошипно-шатунного механизма.

Крин — лилия.

Кросно (мн. ч.: кросна) — ткацкий станок с начатой работой.

Кружальный — кабацкий.

Кубарь — детская игрушка — волчок.

Кювет (кювет) — канава, наполненная водой.

Кудель — вычесанный и перевязанный пучок льна или пеньки для пряжи.

Купальский сон — в ночь под праздник Ивана Купалы (см. с. 509).

Купель — сосуд для погружения ребенка при крещении.

Купина — куст, группа кустов и деревьев; в другом значении — образ богоматери.

Куранты крепостные — часы в тюрьме, в крепости.

Курень — барак, изба, шалаш.

Курослеп — куриная слепота, луговое растение.

Кутейный, кутейник — ироническое прозвище церковнослужителей.

Кутья — кушанье из пшеницы с медом или из риса с изюмом, которое, по христианскому обычаю, едят на похоронах.

Кычет — кукует; в переносном значении — плачет.

Ладанка — сумочка или мешочек с каким-либо талисманом, носившиеся на груди.

Лагуна — мелководный залив, отделенный от моря намойной косой.

Лазунка ольховая — гриб.

Лапки — шипы на конце деревянного бревна, посредством которых оно соединяется с другим бревном.

Ласты — лопасти крыльев ветряной мельницы.

Леванда — растение.

Левантин — шелковая ткань.

Лен кукуший — травянистое растение, сухостебельник.

Лесовик — леший.

Лестовка — кожаные четки (см.); употреблялись старообрядцами.

Летнина — летняя шерсть зверя или домашнего скота.

Леток — отверстие в улье для пчел.

Лешане — жители лесной местности.

Леха — гряда, полоса или межа пашни.

Лешуга — большой филин или пугач, а также леший.
Лик — хор.
Лихо — зло.
Ловитва — охота.
Лодейный — лодочный.
Ложесна — утроба матери.
Лопари, лопь — народность, живущая в СССР на западе Кольского п-ва, а также на севере скандинавских стран (бывш. Лапландия).
Лоский — гладкий, лоснящийся.
Лубок — подкорье деревьев, идущее на лыки; плетеное лукошко; в переносном значении — люлька.
Луда — подводная каменистая гряда.
Лудянка — полуда, краска для лужения.
«Люди» — название буквы «Л» в церковнославянской азбуке.
Ляга — непросыхающая лужа, колдобина, яма с водой.
Лядина — лесок по болоту, березняк с хвойным подсадом.

Макасатовый — сафьяновый.
Макитра — большой глиняный горшок.
Малахай — высокая лисья шапка с наушниками.
Малиновый — красивый, благозвучный (звон).
Малица — верхняя одежда (рубаха с капюшоном) из двух оленьих шкур, мехом наружу и внутрь.
Манок — дудка (пищик) для приманки птиц или чучело птицы.

Марь — марево, туман.
Матица — деревянная балка (брус) поперек избы, на которую настилается потолок.
Медуница — пчела.
Медынь — луговая трава с медовым запахом; м. б., также медовица — напиток из меда.
Мережа, мрежа — рыболовная снасть: сетка, натянутая на обручи.
Мериносы — порода овец с тонкой белой шерстью.
Меря — восточно-угорское племя, жившее в VII—X вв. в районе озер Неро и Плещеево (ныне Ярославская обл.) и впоследствии слившееся со славянами.
Миро — смесь из оливкового или деревянного масла, виноградного вина, ладана и пр., служащая для церковного обряда «миропомазания».
Мироварница — помещение, где варится миро.
Митра — позолоченный и украшенный головной убор епископов православной церкви.
Младень — младенец.
Многопридельный — см. *придел.*
Морок — наваждение, обман.
Мошник — глухарь.
Мошнуха, мошня — глухарка.
Мреть — замирать.
Муравчатый, муравленый — от слова «мурава», означающего глазурь на печных изразцах.
Мурза — мелкий татарский князь.
Мухояровый — сшитый из старинной азиатской ткани мухояра (шерсть с шелком).

«Мыслете» — название буквы «М» в церковнославянской азбуке.
Мытарь — плутоватый человек, перекупщик, барышник.

Наводчатый — расписной.
Наговорный — заговоренный, волшебный.
Накатный — от слова «накат» — толстые доски, служащие для потолков и полов.
Накосник — женский стеганый чепец, надеваемый под платок.
Нарушать — см.: рушать.
Насельники — обитатели.
Нежить — в русской народной мифологии особый род духов, не имеющих собственного обличья.
Непорядная — сверхурочная.
Неприточный — непривязанный, неприверженный к чему-либо.
Ночнина — здесь: уход на ночной промысел.
Ны (слав.) — нас.

Оболоченный — одетый; оболок — одел.
Оборы — бечевки или лыко у лаптей, которыми они привязывались к ноге.
Огневщик — человек у костра, в пустынном поле или в лесу.
Однорядка — долгополый кафтан без ворота.
Омежек — межа.
Опушь, опушка — пушистая оторочка, кайма.
Ораное — вспаханное; орать — пахать.
Осанна — молитвенный возглас, выражающий хвалу.

Осокорь — серебристый тополь.
Остожье — подмостки, подстилка под стог.
Острог — ограда.
Острупеть — покрыться струпьями.
Отжинки, отжины — собранный с поля хлеб.
Отжиночный пирог — см.: отжинки.
Охабень, охобень — верхняя одежда бояр в виде кафтана с четырехугольным меховым воротником и прорехами под рукавами; также верхняя крестьянская одежда (сермяжный зипун).
Оцет — уксус.
Очелье — перёд кокошника, также подвязь (спереди) из бус, монет.

Павечерье — закат солнца, вечерняя заря.
Павьи — павлиньи.
Падун — водопад, крутой перекат или порог на реке.
Пасмо, пасма — одна из частей, на которые делится моток пряжи.
Певник — певец, поэт.
Пеганка — пегая лошадь (пятнистая, пестрая).
Пени — упреки, жалобы.
Первопуток — первый зимний путь на санях.
Перл — жемчуг.
Пестрядь — грубая бумажная ткань из разноцветных ниток.
Пестун — заботливый воспитатель.
Пестушка — трава, полевой хвощ.
Петел — петух.

Пещные — печные.

Плакун-трава — название кипрея и других трав и полукустарников, употребляемых в народной медицине; в заговорах и сказках — растение с магическими свойствами.

Плащаница — четырехугольное покрывало с изображением тела Христа в гробу.

Плес, плесо — широкое водное пространство на реке или на озере (между островами).

Плящий — то же, что палящий.

Поветь — помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря.

Повитуха — женщина, занимающаяся родовспоможением.

Повойник — головной убор замужней крестьянки в виде чепца или повязки, закрывающей косы.

Повольник — в Древней Руси вольный человек, занимавшийся разбоем и торговлей на лодках (ушкуях).

Поддонный, пододонный — скрытый, тайный.

Подзатыльник — сеть из крупного цветного бисера, подвешиваемая под кику (см.) на затылке.

Подзоры — украшения в виде резных досок по ребру ската кровли.

Поднизь — жемчужная или бисерная сетка, бахромка на женском головном уборе.

Подрукавная мука — мука второго сорта, «из-под рукава» на мельнице.

Подъёлыш — рыжик, растущий под елками.

Поезжане — должностные и почетные участники свадебного поезда.
Поемный — см. пойма.
Пожня — поле, где убран хлеб.
Пожуриться — погоревать.
Пойма, поймище — заливаемая во время половодья и паводков низкая часть речной долины.
Половеть — желтеть.
Полонянник — пленник.
Полудняк — южный ветер.
Полузимник — осенний северный ветер.
Помялище, помяльце — помело для подметания золы возле печи.
Поруб — тюрьма, темница.
Порфира — пурпурная мантия, символ власти монарха.
Посиделец (сиделец) — продавец, нанятый хозяином лавки, купцом.
Посконь — грубый крестьянский холст.
Поставец — невысокий шкаф для посуды.
Потир — большая церковная чаша для причастия и пр.
Потничек — подстилка под седло.
Потока — место под стрехой (см.) кровли.
Предста — предстала.
Предызбица — передняя часть избы.
Пресвитер — священник; пастор пресвитерианской церкви.
Преставленные — умершие; преставленье — смерть.
Придел — боковой алтарь в церкви; пристройка.
Прижухлый — от слова «жухнуть» — тускнеть, выцветать, терять вид.

Призор-трава — наговорный, приворотный цветок (призор — порча, волшба).

Прилука — от слова «прилучить» — приманить, приворожить.

Приплачка — обрядное причитанье, плач.

Присуха — колдовство, привораживающее через любовное зелье, а также любимый человек, зазноба.

Притвор — передняя часть церкви, следующая непосредственно за папертью.

Притин — приют, убежище.

Притынный — призаборный.

Причит — причитанье.

Пролетье — начало лета.

Просвирня — женщина в церковном приходе, на обязанности которой лежит изготовление просфор (см.).

Просфора — маленький круглый хлебец, употребляемый в православном богослужении.

Протальники — проталины, места, где стаял снег и обнажилась земля.

Прясло — часть изгороди (звено) от столба до столба, а также решетка из жердей на столбах для сушки снопов.

Пудожане — жители Пудожа, уездного города бывшей Олонецкой губ. (ныне райцентр Пудожского района Карельской АССР).

Пургач — вьюжный ветер.

Пялы — пяльца, устройство для рукоделья (вышивания и пр.) в виде деревянной рамки.

Пятиочитый — пятиконечный.

Пятишовка — род женской одежды.

Радельная рубаха — надеваемая сектантами-хлыстами для обряда «радений».
Раджа — княжеский титул в современной и средневековой Индии.
Радуница — день поминовения покойных родителей.
Размыкушка — от выражения «размыкать горе».
Рака — гробница в христианской церкви, где хранятся «мощи святых».
Раскосулить — распахать косулей (см.).
Раствор — тесто.
Растегай или растягай — шелковый распашной сарафан.
Рох — сказочная птица.
Руга — податная плата, сбор деньгами или припасами на содержание церковнослужителей.
Руда — кровь.
Рудая — рыжая.
Рудеть — краснеть.
Ружить — собирать ругу (см.).
Рундук — крыльцо, крытые сенцы; также ларь, крышка которого служит лавкой в избе.
Руны — древние письмена скандинавских племен, известные с III—IV вв., а также древние народные песни у карелов и финнов.
Рушать — резать (хлеб, дичь).
Рытый — пушистый (о бархате).
Ряда — уговор.
Ряды — торговые лавки, расположенные в одну линию на рынке или в гостином дворе.
Рядки — ряд параллельно расположенных поперек бревна прямых зарубок — линий.

Ряднина, рядно — толстый домотканый холст из конопляной или грубой льняной пряжи.

Саврасый — светло-рыжий.

Садок — судно или небольшой водоем (сосуд) для содержания живой рыбы.

Салоп — широкое женское пальто, а также поношенное, неопределенного фасона пальто.

Самогуды — сказочные гусли-самогуды, которые сами играют.

Самум — горячий сухой ветер Аравийских пустынь.

Сарацины — название арабов, распространенное в средневековой Европе.

Сата — мучная сата, еда.

Сбитень — горячий напиток из меда с пряностями.

Светец — подставка для лучины в избе.

Светорунные — овцы со светлой, как бы светящейся шерстью.

Сглаз — порча от «дурного» глаза (ср. глагол «сглазить»).

Седмица — неделя.

Серафим — ангел высшего чина, изображался на иконах шестикрылым.

Сермяжный — сшитый из сермяги, грубого крестьянского сукна; в переносном значении: мужицкий, крестьянский.

Сибирка — короткий кафтан с невысоким воротником.

Сиверко — резкий холодный северный ветер.

Сиговье — место, где водятся сиги.

Сирин — райская птица, изображавшаяся с женским лицом и грудью; согласно апокрифам, «птица радости».

Скальцы — деревянные валики для сканья (см. скать).

Скатный — круглый, ровный; скатная нить — жемчужная.

Скать — крутить, свивать, мотать пряжу; раскатывать тесто.

Скимен — молодой лев.

Скит — помещение из нескольких келий для монахов-отшельников в отдалении от монастыря, также раскольничий поселок монастырского типа в глухих местах.

Складень — складная икона, писанная или литая (из меди и др.) на двух или трех небольших створках; складень также — род ожерелья из самоцветных камней.

Скрута — праздничная одежда.

Скудельный — глиняный; непрочный, бренный.

Скут — 3-е лицо мн. ч. от глагола «скать» (см.).

Скуфья — остроконечная мягкая шапочка без полей черного или фиолетового цвета у церковнослужителей и у монахов.

Сладимый — милый, теплый.

Слезница — слезная просьба.

Слище или стлище — место, где стелют холст для беления.

Согрева, согревушка — милая, сердечная.

Соловый — желтоватый (о масти лошадей).

Солодовый — от слова «солод» (бродильный про-

дукт, применяемый при производстве спирта, пива и др.).

Солодяга — род варева.

Соть — медовые соты.

Сохатый — рогатый; лось.

Соя — сойка, лесная птица.

Спелегать — вырастить.

Станица — птичья стая.

Станлив, станливый — рослый, стройный, осанистый.

Showcase —

Становать — стоять станом, расположиться для жилья.

Становица — женская рубаха.

Становой кафтан — обтяжной с перехватом по стану.

Старица — старая монашка или подвижница, пользующаяся уважением и авторитетом.

Стихарь — парчовая одежда дьяконов и церковных служек, надеваемая при богослужении.

Стожары — народное название разных созвездий— Плеяд, Тельца, Большой и Малой Медведицы; другое значение: шесты для укладки сена.

Страстотерпец — страдалец, мученик.

Стреха — соломенная крыша.

Струг — речное деревянное судно.

Студный — стыдный, постыдный.

Сугор — бугор, пригорок.

Судина, судинушка — судьба.

Сукрест — крестообразная зарубка на бревне.

Супесь — песчаная земля.

Сурьма — краска для чернения волос, имевшая в составе минерал сурьму.

Сусало, сусло — сладковатый навар на муке и солоде.

Сусальный — покрытый тонкой пленкой, обычно золотой или серебряной.

Суслон — несколько снопов, составленных вместе для просушки и прикрытых снопом сверху.

Сутемёнки, сутемень, сутёмки — вечерние сумерки.

Схима — высшая монашеская степень, требующая выполнения суровых аскетических правил.

Схимник, схимница — принявшие схиму (см.).

Сыропустная — первая после масленицы неделя.

Сытá — медовый взвар на воде или вода, подслащенная медом.

Сытовый хлеб — хлеб, испеченный на сыте́.

Сыченый — подслащенный, сдобренный чем-либо; медовый, медвяный.

Тамаринд — тропическое вечнозеленое растение.

Тать — вор, грабитель, злодей.

Тега — кличка гусей.

Терцина — трехстрочная строфа, в которой средняя строка рифмуется с двумя крайними следующего трехстишия (терцинами написана «Божественная комедия» Данте).

Тиара — головной убор персидских царей и римских пап.

Тимьян — чебрец, трава с пряным ароматным запахом.

Титло — знак пропуска букв, употреблявшийся в древнерусских и церковнославянских рукописях; писался над сокращаемым словом.

Тороп — порывистый ветер.

Торпица — рыба.

То-светный — потусторонний, загробный (от выражения: «тот свет»).

Треба — богослужебный обряд, совершаемый по требованию верующих (крестины, свадьба, отпевание).

Требник — богослужебная книга, по которой совершаются требы.

Тресто́ — болотный тростник.

Тропарь — церковное песнопение в честь какого-либо праздника или святого.

Трунь — ветошь.

Трут — губчатый гриб, растущий на деревьях; высушенный, употреблялся при высекании огня.

Туес — круглый кузовок, короб с крышкой из бересты.

Тук — жир, сало, удобрение.

Тул — колчан для стрел.

Тулка — род воронки или трубка, вставляемая во что-либо.

Убрус — платок, нарядное полотенце.

Узорочье — дорогие узорчатые вещи: ткани, изделия, чеканенные золотом и серебром.

Укладка, уклад — сундук.

Улус — селение, табор.

Упеки — зной, солнцепек.

Урочище — ограниченная часть местности или ее особенность (напр., овраг, лес).

Усновище — покрытие основой, т. е. нитями при тканье.

Уста — растение белоус.
Утреня — ранняя церковная служба.

Фальцовка — способ складывания печатного листа книги в типографском производстве.
Ферязь — старинная русская долгополая одежда с длинными рукавами.
Финифть — эмаль (обычно синяя) для покрытия металлических изделий.
Фита — название упраздненной буквы русского алфавита.
Фолиант — толстая книга большого формата.
Фрегат — крупная морская птица; военный корабль.

Халдеи — семитические племена в Южной Месопотамии (VII в. до н. э.).
Хартия — старинная рукопись или документ.
Хитон — одежда древних римлян, род безрукавной рубахи.
Хлябкий — шатающийся, непрочный, зыбкий.
Хлябь — бездна, глубина (морская, небесная).
Хмара — туман, туча, пасмурная погода.
Хризопрас — драгоценный камень халцедон.
Хрущатый — плотный, шуршащий.

Цеп — ручное орудие для молотьбы, состоящее из длинной ручки и прикрепленного к ней ремнем деревянного била.

Цитра — струнный щипковый музыкальный инструмент.

Чалый — серый, пепельный, с примесью другого цвета (о масти лошади).

Часослов — книга, содержащая тексты православных богослужений и молитв, приуроченных к «часам», т. е. к утрене, вечерне и т. д.

Чекмень — кавказская верхняя мужская одежда; суконный полукафтан со сборками сзади.

Чепрак — суконная ковровая или др. подстилка под седло.

Черевчатый — красно-фиолетовый.

Черемисы — старое название народа мари, живущего в Марийской АССР.

Чермный — багровый, темно-красный.

Чернавка — служанка для черной работы, девушка простого звания.

Черносошное тягло — повинность государственных крестьян, плативших в казну подушную подать с «черной сохи» (старинная мера обложения налогом).

Чин — порядок, устав.

Чихирь — сорт молодого виноградного вина.

Чугунка — в бытовом просторечии название железной дороги.

Чудь — древнерусское название различных финских племен, живших на севере европейской России.

Чумацкий — прилагательное от «чумак» (торговец, развозивший товары на волах).

Шамаханский — из Шамахи (или Шемахи), города в Закавказье, где торговали восточными шелками.

Шатун — медведь, не впавший в зимнюю спячку.

Шашель — жук, личинки которого поедают деревянные постройки.

Шелом, шолом — металлический шлем; в другом значении — верхний осевой брус двускатной крыши избы, на который ставился резной гребень (со шпилями или петухами по концам); шоломом называлась также вся поверхность двускатной кровли.

Шесток — площадка перед выходным отверстием русской печи.

Ширинка — короткий отрез ткани, полотенце, платок.

Шитицы — шитье, вышивка.

Шолом — см.: шелом.

Шугай — род женской короткополой кофты, а также сарафана для старух.

Шуйца — левая рука.

Шушун — название женской одежды: кофты, телогрейки, шубейки.

Юдо — сказочное чудовище (чудо-юдо).

Юдоль — долина; в переносном значении — жизнь с ее горестями и лишениями.

Юры — открытые возвышенные места.

Ягель — ягельник, вид мха, лишайника, также «олений мох».

Ярка — молодая овца.

Яровчатый — см.: ярь.

Ярыга — низший служащий в полиции, а также пьяница, беспутный человек.

Ярый — огненный, яростный, страстный; в другом значении: белый, чистый, прозрачный (воск, зерно и др.).

Ярь — яровое зерно (обычно пшеница, овес или ячмень), а также яркость, блеск; яровая борозда — весенняя.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ Н. А. КЛЮЕВА

Сосен перезвон, М., 1912; то же, изд. 2, М., 1913.

Лесные были, М., 1913.

Песнослов, кн. 1—2, Пг., 1919.

Изба и поле. Избранные стихотворения, Л., 1928.

СОДЕРЖАНИЕ [1]

СТИХОТВОРЕНИЯ

[1] Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечаний.

ПОЭМЫ

Николай Алексеевич
Клюев

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1977
560 стр. План выпуска 1975 г. № 361
Редактор *В. С. Киселев*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*
Сдано в набор 2/II 1977 г. Подписано к печати 17/XI 1977 г. А 09871. Формат $84 \times 108^1/_{64}$. Бумага тип. № 1. Печ. л. $8^3/_4+1$ вкл. Усл. печ. л. 14,75. Уч.-изд. л. 15,15. Тираж 15 000 экз. Заказ № 213. Цена 1 р. 50 к.
Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

